

ВЛАДИМИР ШАРОВ

ВЛАДИМИР ШАРОВ

**СЛЕД В СЛЕД
ДО И ВО ВРЕМЯ
МНЕ ЛИ
НЕ ПОЖАЛЕТЬ**

Романы



РЕДАКЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЕЛЕНА АСТ
ШУБИНОЙ МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ш26

Художественное оформление — *Наталья Агапова*

Шаров, Владимир Александрович.

Ш26 След в след. До и во время. Мне ли не пожалеть : [романы] / Владимир Шаров. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2022. — 733, [3] с. — (Большая проза).

ISBN 978-5-17-146011-2

Владимир Шаров (1952–2018) — писатель, историк, автор романов «Репетиции», «Возвращение в Египет», «Старая девочка», «Будьте как дети», «Царство Агамемнона», «Воскрешение Лазаря», лауреат премий «Большая книга» и «Русский Букер».

Во всех его романах — или, скорее, философских притчах — семейная хроника неразрывно соединена с историей страны, а библейские мотивы переплетаются с темой Революции.

В настоящее издание вошли романы «След в след», «До и во время» и «Мне ли не пожалеть».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-146011-2

© Шаров В.А.
© ООО «Издательство АСТ»

| СОДЕРЖАНИЕ |

СЛЕД В СЛЕД

| 7 |

ДО И ВО ВРЕМЯ

| 215 |

МНЕ ЛИ НЕ ПОЖАЛЕТЬ

| 507 |

| СЛЕД В СЛЕД |

Роман

Эти записки я начал собирать из многочисленных разрозненных заметок в феврале 1979 года, через два года после смерти моего приемного отца Федора Николаевича Голосова, их главного действующего лица, а по большей части и автора. Соединить отдельные воспоминания, дополнить их до целого (здесь мне во многом повезло) было моим долгом перед умершей, пресекавшей на нем семьей Федора Николаевича. Как приемный сын я тут не в счет.

После этого предисловия и до самих записок мне кажется нужным сказать несколько слов о последних годах жизни Федора Николаевича и объяснить, почему я был усыновлен им.

Мое имя Сергей Петрович Колоухов. Со стороны матери я принадлежу к коренным воронежцам; судя по дворянской росписи конца XVII века, ее предок вместе с набранным отрядом низовых казаков был поверстан на службу в 1698 году и получил землю недалеко от Воронежа в Елифанском уезде. В 1862 году, сразу после крестьянской реформы, семья ее продала маленькое поместье, которое у них еще оставалось, и перешла в широкую и многоликую группу разночинцев, дед со стороны матери учительствовал и в начале XX века был директором Первой воронежской мужской гимназии, состоя в чине действительного

статского советника. До сих пор живы ученики этой гимназии, которые его хорошо помнят. Моего деда по отцовской линии судьба кидала из стороны в сторону больше, чем родителей матери, но и он по тем временам прожил жизнь вполне спокойную. Родом он был из Сибири, из-под Омска, в 1910 году поступил в Дерптский, ныне Тартуский, университет и там учился у знаменитого в то время ботаника Козо-Полянского. В шестнадцатом году, после защиты магистерской диссертации, он был оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию, а в восемнадцатом, после начала эстонской независимости, вместе с русской профессурой и большей частью библиотеки, вместе с тем же Козо-Полянским, относившимся к нему как к сыну, переехал в Воронеж, где осел. Его сын и был моим отцом.

Хотя я всё свое детство прожил в Воронеже, до двадцати лет надолго никуда из него не уезжал, знаю в нем каждый дом, каждую улицу, знаю многих людей, живших на этих улицах — у матери и отца был, что называется, «открытый дом», к нам ходили чуть ли не все, кто был связан с университетом, — словом, хотя город должен был быть для меня живым из-за людей, связей, воспоминаний, так никогда не было. Массивные, низкие, как будто недостроенные дома, длинные, как туннели, пересекающие весь город улицы (память о Петре и Петербурге), по которым зимой дуют степные заволжские ветры — в детстве я больше всего боялся, что они унесут меня, — к нам эти ветры приходят со стороны Саратова, но родина их дальше, в казахских степях, и еще дальше, в Сибири. Город и сам казался мне родом оттуда. Конечно, я не прав, и он все-таки живой; здесь родилось несколько хороших писателей, поэтов, художников, отсюда и любимый мной Андрей Платонов.

В нашем городе был и до сих пор есть некий налет столичности, десяток монументальных зданий, балет, — всё это память того краткого периода, когда он был столицей огромного Центрально-Черноземного края, а потом, по слухам, должен был стать столицей РСФСР, однако куда больше в нем от лишенца.

Воронеж был обманут и с Россией, и со старой областью, от которой перед войной оставили ему едва треть, но обманут, особенно по тем временам, не жестоко, не страшно.

После революции здесь осели очень многие: и тартуская профессура, и те, кто переехал сюда в пору взлета Воронежа, а потом уже не имел сил снова подняться и искать другого. Все они довольно быстро смешались со старыми, коренными воронежцами, благо пустых, брошенных своими мест было много, бежать отсюда было легко — до Дона, Ростова, Кубани, Крыма рукой подать. Слившись, эти разные и опять-таки различинные интеллигентские толки снова начали ставить любительские спектакли, играть в бридж и буриме, а под Новый год крутить тарелки, снова, как и раньше, в домах весь январь не убирали маленьких пышных сосенок, которые здесь наряжали вместо елок, — длинные иглы их почти не опадали.

Бытовала тут и кое-какая наука: хорошая библиотека, центр Черноземья, рядом огромный старый бор, самый южный в степи, в деревнях мешанина всяческих сект — граничность этой территории, хоть и было время всему смешаться и сойти на нет, еще чувствовалась — старообрядцы, молокане, хлыстовцы, странное село с блеклым русым вырождающимся народом, упорно считавшим себя евреями, — то ли адвентисты, то ли потомки хазар, разбросанные тут и там хутора немцев-колонистов, по большей части, правда, уже без немцев, — всё это среди ровного пространства степей, где нет ни гор, ни леса, кроме одного бора, ничего, за что можно было зацепиться, укрыться, где ветер, который так пугал меня в городе, давно уже должен был сдуть и смешать всё.

С Федором Николаевичем Голосовым я познакомился, когда мне было тринадцать лет, в начале или середине пятидесят седьмого года. Как-то на одно из наших семейных торжеств, семейных только по названию, школьный друг отца — теперь он работал директором авиационного завода — привел не знакомого мне студента. Было ему лет двадцать, и было известно, что он москвич, сын крупного конструктора самолетных двигателей,

имя которого назвали всего один раз, да и то шепотом, он был засекречен. По каким-то никому не известным причинам Голосов уехал из Москвы и теперь собирался навсегда поселиться в Воронеже, он уже перевелся на IV курс истфака и только что сдал летнюю сессию.

Вопреки обычному нелестному мнению о москвичах, существовавшему у нас, как и везде в провинции, он оказался удивительно тихим и приятным человеком, легко вошел в наши занятия, от игры в карты до всё того же верчения тарелок, и, в общем, уже через год-полтора стал своим. Правда, непонятность, странность его переезда продолжала еще долго сковывать остальных, в нашем кругу все друг о друге всё знали, и не только с пеленок: женились, разводились, вновь сходились, но, что бы ни случилось, почти никогда не преступали границ, внутри которых родились и выросли.

Дважды или трижды была предпринята попытка женить его (у Голосова был долгий роман с одной из наших знакомых) и тем самым как бы упрочить его воронежскую прописку, несколько раз через московских знакомых узнавали о причинах столь неожиданного кульбита, но в обоих случаях результат был неутешительным, недоверие осталось, однако никаких зримых поводов для беспокойства не было, всё шло так же, как раньше, и я теперь понимаю, что эта тайна даже немало обогатила всех, дала нашему кругу как бы другой пласт измерения. С того времени многие начали таиться, чего раньше у нас никогда не было, отношения от этого не ухудшились, но былой простоты не стало.

К году переезда Федора Николаевича в Воронеж я уже в целом определился: новейшая философия (конец XIX–начало XX века), пришедшая, как это ни смешно, на смену маркам, занимала всё мое время. Хорошие способности к языкам, характерные для нашей семьи — и дед, директор гимназии, и отец были лингвистами, специалистами по классическим языкам, — позволили мне еще до окончания школы свободно знать латынь, немецкий и французский, а также без особого труда разбираться в английских текстах. Богатейшее университетское собрание философов

рубежа века было в почти монопольном моем пользовании, месяцами я не сдавал книги, читал, конспектировал, делил на школы, искал влияние и противоборства.

В семнадцать лет, после окончания школы, я поступил на философский факультет — и теперь сталкивался с Федором Николаевичем почти ежедневно: кафедра, на которой я хотел специализироваться, и его были рядом. К этому времени он уже защитился и читал курс русской истории. Так получилось, что мы вместе стали ходить в университет, часто гуляли и в недолгое время близко сошлись. Хотя он был старше меня менее чем на десять лет, я, да и он, числили друг друга в разных поколениях и не переходили дистанцию.

В двадцать один год моя жизнь круто изменилась: родители разбились насмерть в только что купленной машине, и я остался один. Сейчас я не помню, как прожил ту весну и лето. Единственным, кого я мог тогда видеть, был Федор Николаевич. Теперь я понимаю, что он уже в то время добросовестно пытался заменить мне семью, но при тех отношениях, которые у нас были, это было невозможно; денег я не брал, от всякой помощи отказывался, мне казалось немыслимым, что кто-то будет делать для меня то, что делали мать и отец. Внешне его поведение со мной почти не изменилось, однако я чувствовал, что стал в его глазах другим, да и сам часто ловил себя на том, что кажусь себе старше его: все-таки у него были и отец, и мать, а у меня никакого прикрытия уже не было, я был старшим в своем маленьком роде, главным и последним в нем. Всё же, хотя я и не позволял Федору Николаевичу помогать мне, я знаю, что только благодаря ему я смог тогда стать на ноги.

Жизнь продолжала нас связывать и дальше. В двадцать два мне предложили аспирантское место в Москве, но по специальности, которая не вызывала у меня ничего, кроме недоумения, — научному атеизму. В Воронеже никаких перспектив не было, я как бы намеренно вышел из того круга, центром которого были мои родители, продолжать старые отношения я не хотел и не мог, однако сейчас, задним числом, я часто

удивляюсь, как быстро произошел этот разрыв, как быстро я был изъят из их жизни, а они из моей.

Несмотря на отличный диплом, места при университете для меня не нашлось, и я был распределен в школу. Шел август. Я уже начал готовиться к урокам, несколько раз побывал в своей будущей школе; Федора Николаевича в это время в Воронеже не было — еще в июне он уехал в Москву, где тяжело болела, а в конце июля умерла его мать. В середине августа он вернулся, чтобы уладить свои воронежские дела перед возвращением, уже окончательным, в Москву. Отец его после смерти жены оказался совсем один, очень сдал, тоже почти всё время болел, и оставлять его надолго было нельзя.

Больше как о шутке я рассказал Федору Николаевичу о месте научного атеиста, но он отнесся к этому делу иначе, и в конце концов я следом за ним поехал в Москву — может быть, не столько из-за его доводов, сколько из-за него самого. В ноябре я легко выдержал экзамен и стал аспирантом. В Москве через два года я женился на милой девушке, тоже аспирантке, но из другого сектора; она была похожа на мою мать, но не лицом, а скорее повадкой, и, думаю, понравилась бы родителям, будь они живы. На последнем году аспирантства у нас родился ребенок; кучу проблем, которую вызвало его появление, мы, признаться, не предвидели. Ни жить, ни работать было негде. С Федором Николаевичем мы в то время почти не виделись, и поэтому и жена, и я были буквально поражены, когда он предложил нам поселиться у него в большой трехкомнатной квартире на Суворовском бульваре, оставшейся ему после недавней смерти отца. Несколько раз он пытался прописать нас у себя, а потом, когда выяснилось, что единственный путь — усыновление, он и моя жена сумели уговорить меня на это.

В январе семьдесят второго года, ровно за семь лет до неожиданной смерти Федора Николаевича, я стал его сыном, правда, сохранив свои прежние имя, отчество и фамилию. Умер Федор Николаевич 16 января семьдесят девятого года — в нашем

подъезде, от разрыва сердца, буквально за одну секунду. Врач-кардиолог, который жил на втором этаже и тут же спустился, уже ничего не смог сделать.

После смерти Федора Николаевича я оказался его единственным наследником — других родных у него не было. Среди той части имущества, которая нам была не нужна и которую мы запихали на антресоли, находился и огромный портплед, где, как я знал, хранились бумаги и записки, отобранные Федором Николаевичем за год до смерти. Я знал также, что остальное он сжег, а с этим собирался работать дальше, и что эта работа была для него главным в жизни. То, что я убрал эти бумаги и забыл о них, — мой грех, так же как и другой грех — согласие на усыновление: есть вещи, которые делать нельзя, даже если никому от этого не стало хуже.

Надо сказать, что при том, что мы действительно последние годы жили как одна семья, Федор Николаевич никогда не посвящал меня в свою работу, да и я ни в коей степени не вмешивался в его дела и не интересовался ими; степень близости между нами была перейдена, и углублять ее мы оба не желали. Во многом здесь сыграло роль мое чувство вины перед матерью и отцом за согласие на усыновление и его чувство вины за то же самое. Архив Федора Николаевича провалялся среди другого хлама несколько лет; я говорил себе, что надо заняться им, что это мой долг, но всегда текущие дела отвлекали меня, и я постепенно стал о нем забывать. Антресоли наполнились папками с моими бумагами, и портплед потонул в них. Боюсь, что я бы так и не вспомнил о нем, если бы мне, насколько это вообще возможно для научного атеиста, не был дан знак свыше.

В марте 1984 года я работал в архиве Троице-Сергиевой лавры в фонде тогдашнего архимандрита отца Феодосия, готовя большую статью о религиозной философии рубежа века. Материал был богатейший, особенно интересной была переписка Феодосия с Владимиром Соловьевым. К концу месяца у меня набралось уже несколько толстых тетрадей выписок, и я понял, что пора остановиться, иначе потонешь. На завтра

я заказал последнюю порцию дел, в гостинице достал спрятанные на дне чемодана коробки конфет для девочек из хранения, а потом отправился в ресторан. Утром пиво поставило меня на ноги, и я, хоть слегка и помятый, к одиннадцати был в архиве, вручил свои дары, получил дела и принялся за работу.

Развернув очередное послание к Феодосию, я вдруг увидел, что оно написано почерком Федора Николаевича. Ничего не понимая, я долго тупо смотрел на него, потом перевернул страницу, но и там были те же нажимы и те же буквы. Письмо было написано его рукой — сомнений тут не могло быть никаких; ни разу в жизни я не встречал ничего похожего на его резные, с явным левым наклоном, одновременно совершенно непонятные и каллиграфические буквы. Подписано письмо было фамилией Шейкеман, которую я видел впервые. Было оно короткое и неинтересное: отпуск денег для библиотеки и список вновь приобретенных книг. Два часа я просидел над этим злосчастным посланием, раз тридцать перечел его, рассматривая каждую букву; с таким бредом я еще не сталкивался, впору было перекрестить письмо и сказать «сгинь». Единственное, что пришло мне в голову, — посмотреть, нет ли в архиве фонда этого самого Шейкемана. Девочки разузнали мне всё за двадцать минут: фонд был, но принести его уже не могли — пятница, вечер и из хранения все ушли.

Я тоже собрался и вышел на улицу. Город тонул в густом тумане, и церкви почти не были видны, ранняя в этом году весна растопила снег, и обычная вязкая грязь маленьких городков стояла везде. Скоро должны были звонить к вечерне. У главных ворот лавры я свернул налево и начал обходить ее, так часа полтора я гулял каждый вечер. Скоро и вправду зазвонили, туман глушил и рассеивал звук, звонили со всех сторон, но далеко. На полпути я потерял лавру, долго плутал по кривым грязным улочкам, спрашивать никого не хотелось, а потом, сделав почти полный круг, неожиданно вышел к центральной площади, где стояла моя гостиница. Я уже знал, что сегодня поеду домой, приму ванну, вообще по возможности приведу себя в порядок,

в понедельник же продлю командировку и займусь этим Шейкеманом, а после него — архивом Федора Николаевича. Домой я попал среди ночи — и сразу же стал рыться в столе, ища письмо или какую-нибудь записку Федора Николаевича: все-таки я надеялся, что почерк не его; наконец нашел — и так же тупо, как в архиве, понял: его.

После смерти Федора Николаевича, пока еще всё, связанное с ним, не стало забываться, я часто думал о конце его семьи; мне было страшно, что я оказался единственным его родственником, единственным наследником. Но у меня со стороны отца и матери до второго и третьего колена не осталось никого — во всяком случае, я ни о ком никогда не слышал. Помню, что на поминках Федора Николаевича я, чуть ли не первый раз в жизни напившись, говорил жене, что предал отца и мать, что это из-за нее я отказался от них, и теперь мне надо продолжать два рода — и свой, и Федора Николаевича, и что я так не могу. Потом, когда все ушли и мы остались одни в этой огромной квартире, я лег в своей комнате, но спал недолго, скоро поднялся и стал искать жену. Я ходил из комнаты в комнату, но ее нигде не было, мне стало страшно, я закричал, она тут же прибежала, и я, так же в крике и в слезах, выговаривал ей, что я всех предал и теперь, как обрубок, никому не нужен. Она почти до утра просидела со мной, ничего не говорила, только гладила. Больше мы к этой теме не возвращались, но уже тогда, пьяному, мне показалось, что она думает так же, и ей нечем помочь мне.

Теперь, после своего ночного возвращения из Загорска, я проснулся, уверенный, что Шейкеман и Федор Николаевич напрямую связаны между собой. Всю ночь то ли во сне, то ли в полудреме я думал, почему Шейкеман возобновился именно в почерке, буквы и слова представлялись мне дорожкой, уже один раз пройденной, которую надо размотать, распутать, чтобы не петлять и идти скорей. Моя утренняя уверенность была связана с наблюдениями за сыном. После смерти отца и матери я искал в нем их черты, подсознательно я думал, что мой сыновний долг хоть в каком-нибудь, пускай неполном виде, возобно-

вить их. Внешне Саша мало походил на нас: глаза, правильно очерченный рот, весь облик скорее напоминал линию жены, — однако мелкими, непонятно даже как наследуемыми особенностями характера, вкусами, пристрастиями он пошел в нас. Спал он так же, как отец, в позе задумавшегося философа, положив указательный палец на нижнюю губу, и, как отец, отходил от ссор, рассматривая географическую карту. Как я, он просыпался всегда в том же настроении, в каком заснул, а говоря, кружил по комнате, причем чем быстрее говорил, тем быстрее и кружил, отец называл это «разматыванием мысли». Почерк был из особенностей того же рода.

Встав, я принял ванну, позавтракал и, несмотря на протесты жены, начал разгребать антресольный мусор, пока не добрался до портплекта Федора Николаевича. На пятой из двух десятков папок, лежащих в нем, была приклеена бумажка с надписью «П.М.Шейкеман». Выписка в ней было мало, Федор Николаевич знал о своем прадеде только то, что он был белорусским евреем, участвовал в Балканской войне 1877–1878 годов, потом крестился, принял сан и священствовал в одном из подмосковных приходов; его единственным ребенком была дочь Ирина, умершая в 1923 году. С удивлением я обнаружил, что не авиаконструктор Голосов, фамилию которого он носил, а сын Ирины Шейкеман Федор был настоящим отцом Федора Николаевича. Всё остальное, что есть в этих записках о П.М.Шейкемане, мне удалось разыскать в трех основных местах — в архивах Троице-Сергиевой лавры и Московской патриархии, а также в различных московских и петербургских газетах 70–80-х годов прошлого века.

Надо сказать, что сам Шейкеман в своих письмах старательно обходил всё, что касалось его юности и Балканской войны, и без газет, несмотря на их вранье и подчас фантастические преувеличения, мне было бы нелегко понять хоть что-нибудь из его жизни. В письмах, как мне кажется, я сумел уловить общий тон этого человека, и из газет выбирал живые детали, согласные с ним. Историю жизни Шейкемана я начну со стихотворения Федора Николаевича, которое, как мне кажется, ей близко:

Стволы поваленных деревьев покрыты мхом,
Их корневища сгнили, и ямы заросли землей,
Кору и мох укроют снега зимой.
Во время мора скот пал и брошен пастухом:

Кто был хозяин здесь, предвидел большой падеж,
В начале осени балтийской ветер гнилой
Несет дожди, и с ними уходит дух живой.
Кто ходит за тобой? Пастух твой знает,
когда ты упадешь.

В земле вода проложит корни свои,
И, укрепясь, где дерево стояло, начнет ручей,
Ствол дерева, покрытый мхами, — он неизвестно чей,
Он здесь лежит всю осень, он дышит от земли.

Петр, до крещения Симон Моисеевич Шейкеман, был старшим сыном гомельского кантора Моисея Шейкемана, имя которого в середине прошлого века знали многие евреи черты оседлости, и сотни из них приезжали в большую гомельскую синагогу послушать его необыкновенно сильный и мягкий голос. Самый чтимый в то время в Белоруссии раввин Соломон Тышлер из Гродно говорил, что у него добрый голос и Господь всегда слушает его. Гомельские евреи, молившиеся вместе с ним, тоже считали так, и семь лет, пока он пел, молитвы их доходили до Господа: в городе не было ни одного погрома, и община, насколько это вообще возможно, процветала.

Много раз Моисея Шейкемана приглашали петь крупнейшие синагоги Киева, Одессы, Минска, Лодзи, однажды его несколько дней обхаживал антрепренер застрявшей в городе итальянской труппы: их баритональный бас, на котором держался весь репертуар, умирал в больнице. Антрепренер сулил ему всероссийскую славу, но Шейкеман и ему, и другим отвечал отказом. Кажется, это было связано не столько с местным гомельским патриотизмом, сколько с желанием вообще уехать

из России. Такая возможность действительно представилась (его пригласили занять место кантора в главной пражской синагоге), но уже тогда, когда петь он не мог.

Осенью шестьдесят четвертого года Шейкеман простудился, болезнь быстро перекинулась на легкие, к январю он, кажется, поправился, стал выходить, пробовал петь, но в марте всё пошло по второму кругу и куда серьезней. Начался туберкулезный процесс. Как только в городе это стало известно, евреи собрали большую сумму денег, и он был отправлен лечиться в одну из швейцарских клиник. Доехал он с трудом, но болезнь захватили вовремя, и через три года он вернулся в Гомель практически здоровым, но без голоса. Болезнь началась с горла, с голосовых связок, и они уже не восстановились. Надо сказать, что с тех пор голос исчез из семьи навсегда: никто из четырех детей Моисея Шейкемана, родившихся после его возвращения из Швейцарии, не обладал, в отличие от старших, никакими способностями ни к пению, ни к музыке.

Три года его болезни (за это время жена Моисея Эсфирь дважды приезжала к нему в Давос) полностью разорили семью. Кроме собранных на лечение денег, отдавать которые было не надо, Шейкеманы задолжали очень большую по тем временам сумму. Частично деньги выплатили, продав дом в Гомеле, после чего вся семья переехала в маленькое приднепровское местечко Речица, Эсфирь была родом оттуда; оставшийся долг они обещали покрыть в течение десяти лет. Как это сделать, никто не знал. Дальнейшая судьба долга мне не известна, но по некоторым глухим намекам в письмах Петра Шейкемана можно предположить, что их обязательства скупил дальний родственник Эсфири, чем-то, кажется, ей обязанный. Он содержал корчму и был единственным богатым человеком в местечке. Возврата долга он не требовал, но и обязательств, как обещал вначале Эсфири, не уничтожил.

В Речице семья голодала, единственным заработком были редкие уроки в хедере, которые иногда уступал Моисею Шейкеману местный меламед. Спасались они, собирая в лесу ягоды,

грибы и особенно травы, которыми Эсфирь лечила русских жителей местечка. Евреи не верили в травы и вообще не любили ее. Еще о Моисее Шейкемане мне известно, что он был очень красив, хотя в Гомеле многие, особенно русские, находили его внешность демонической и удивлялись разности лица и голоса. Знаю и то, что после переезда в Речицу он каждый месяц, и летом и зимой, на неделю уходил из местечка в лес, говорили, что в лесу у него вырыта землянка и он уходит туда молиться.

В 1870 году Симон (Петр), сын Моисея Шейкемана, и Иосиф, сын их заимодавца, окончили хедер, они с детства были ближайшими друзьями, оба — первыми учениками и гордостью местечка, но для наших записок гораздо важнее, что оба они были влюблены в дочь меламеда Лию, и она, несмотря на запреты родителей, отдавала явное предпочтение Симону, очень походившему на своего отца. Все знали, что они любят друг друга и осенью, когда получают паспорта, собираются уехать в Америку. В том же 1870 году в местечке был объявлен новый набор рекрутов, среди прочих жребий пал на Иосифа, и его отец вместо того, чтобы нанять русского рекрута — это было возможно, — потребовал, чтобы шел Симон или чтобы Моисей Шейкеман немедленно погасил долг. Причиной тому была Лия.

Когда Эсфирь узнала об этом, Моисей Шейкеман был в лесу. Через несколько дней он вернулся, говорил с женой и, не сказав сыну ни слова, снова ушел. Эсфирь тоже молчала. Симон был оставлен один и должен был сам решить, что ему делать. В письмах Петра Шейкемана ссылки на эти дни возникают несколько раз (единственное упоминание Речицы во всей переписке), и всегда как пример положения, из которого нет выхода. И отец, и он знали, что деньги должны быть возвращены, знали, что он должен идти, знали, что он пойдет, и оба понимали, что он платит чужие долги, платит за отца в Швейцарии, за поездки матери к нему, платит за своих братьев и сестер.

Своим согласием он сразу стал старше своей семьи, старше отца. Он нарушил ход жизни рода и должен был выйти из него. Семья предала его, откупилась им, и он знал, что спасает то, что

для него самого уже потеряно. Когда он в лазарете после тяжелейшего ранения в живот узнал, что будет жить, и согласился креститься, это было только завершением его выхода из рода, из всего избранного Иеговой народа. Это равно понимали и он, и отец, не сказавший ему тогда в Речице ни слова и ушедший в лес, и мать, бывшая с ним до последней минуты и тоже ничего не сказавшая ему, и его братья и сёстры, и всё местечко. Забегая вперед, скажу, что ни до, ни после крещения он никогда не переписывался со своей семьей и, кажется, не имел никаких известий о ее судьбе. В отличие от других неопитов, знавших свой грех и мстивших за него прежним единоверцам, в отличие от исступленной религиозности многих из них, он был спокоен в своей новой вере как человек, заплативший за всё вперед и бывший теперь в расчете.

В русской армии Петр Шейкеман прослужил десять лет, с семидесятого по семьдесят девятый год. Он прошел всю Балканскую войну от тяжелейшей переправы через Дунай, во время которой их батальон первым форсировал реку, закрепился и дал навести переправу. Во время этого боя из пятисот человек в живых осталось только семьдесят, остальные утонули в реке или погибли, защищая первый кусок правого берега Дуная. После переправы они разыскали и похоронили меньше сотни своих, а другие три с половиной сотни не добрались и до берега. Потом их батальон пополнили почти до нормы, назначили нового командира — старый капитан Тулик был убит — и после недельного отдыха послали дальше. Они попали в корпус генерала Гурко, вместе с ним прошли всю Болгарию, взяли обледенный Хаинкиойский перевал, заняли Шипкинский — этот же перевал они под командованием Столетова затем обороняли от главных сил турок.

Штурм шел три дня, а потом еще несколько, но уже не так сильно — и турки устали, и они подкрепление получили. Их батальон был почти весь перебит уже в первый день боев, из четырехсот осталось тридцать: батальонный — капитан Жуков, ротный — поручик Глюк, и двадцать восемь солдат без единого

унтера. Стояли они чуть ниже седловины, на той стороне перевала, которая была обращена к туркам, и раньше других оказались под ударом. На Шипке в первый раз зацепило и его, пуля попала в живот, сначала он кричал, но своих, живых, рядом уже не было, а турки еще не подползли, только стреляли, потом впал в забытие, и турки, когда пришли, думали, что он мертвый, и он сам так думал. Из карманов они у него всё вынули, сапоги сняли, а приканчивать не стали — значит, даже не пошевелился. Под утро, когда стало совсем холодно, он очнулся, наши по этому месту сильно стреляли, и турки отошли назад, ниже, а он пополз к своим, выше, и помнил, что кишки придерживал, чтобы не вывалились. В конце концов в лазарете его выходили, и там же, в лазарете, сам Скобелев приколол ему второго солдатского Георгия, первого он получил за переправу через Дунай.

Из евреев он был единственный награжденный двумя Георгиями, и это сразу сделало его одним из героев войны. Пока он был в лазарете, еврейские, а потом и русские газеты писали о нем изо дня в день. Для либеральной прессы он был свидетельством верности евреев своему русскому отечеству и подтверждением необходимости пересмотра законов о евреях, а правые (здесь главным был «Гражданин» Мещерского) тоже хвалили его, но отмечали, что такой еврей один, а остальные только и думают, как бы сподить и ограбить русского мужика, а самим и детям своим в солдаты не идти. Потом, после того как Симон Шейкеман крестился (кстати, его крестным был тот же Скобелев) и правые начали писать о нем только как о герое, из евреев он был сразу же изъят, и лишь в двух из множества статей я нашел замечание, что путь Петра Шейкемана — единственный для евреев России, если они хотят здесь остаться.

Правые были авторами и большинства легенд о Шейкемане. Человек он был действительно отчаянный, больше потому, что до Шипки не хотел жить, всегда вызывался охотником, ходил за «языками», в полку считался из первых храбрецов, но из того, что ему приписывалось, не совершил и десятой части. Особенно популярна была история крещения Шейкемана, обошедшая

многие газеты. Пошла она от «Московских ведомостей», которые писали, что спас его солдат Иван Солопов — такой действительно был в их батальоне и погиб, защищая Шипку, — что он вынес его, тяжело раненного, из-под огня, до этого за ним дважды ходили другие солдаты, один русский, другой болгарин, но оба не дошли, так густо стреляли турки. Солопов же дополз и вынес его, или, вернее, выволок. Лежал Шейкеман совсем плохо, точно между своими и турками, наши оттуда еще вчера отошли, а турки их окопов пока не заняли, боялись и только стреляли. Добирался до него Солопов долго, и, хоть наши, как могли, отвлекали турок, его заметили, и, когда он назад, в гору, полз с Шейкеманом, турки по нему уже всё время стреляли. Корреспондент писал, что меньше двух метров оставалось до укрытия, когда пуля попала Солопову в спину. Потом они лежали вместе в лазарете на соседних койках, считалось, что оба умрут, но Шейкеман выжил, а у Солопова началась горячка, его соборовали, и он за полчаса до смерти, придя в сознание, прошептал что-то один раз, второй, но разобрать было нельзя, а потом, когда врач и Шейкеман склонились над ним, поняли, что он Симу Шейкемана зовет и ему говорит: «Ты, Сима, когда я умру, крестись, а то бусурмане радоваться будут, что христиан меньше стало».

После войны Шейкеман вышел в отставку по ранению и поехал в Сергиев Посад к троицкому архимандриту Феодосию, который много писал ему и звал к себе в монастырь долечиваться. Как видно из писем, сначала Петр Шейкеман хотел совсем уйти в монастырь, в Речице прервалась и кончилась одна его жизнь, на войне дважды гибли почти все, кого он знал, чудом не погиб и он, теперь, после крещения, как бы обязавшись жить заново, он понял, что у него на это нет сил, что он уже давно пережил себя, и тот остаток, который ему дан, хочет провести среди других людей, доживающих свой остаток, — в монастыре. Думал он и о том, что должен узнать веру, в которую перешел. Феодосий разрешил ему жить в лавре (в основном он лежал в монастырской больнице), но на пострижение неизвестно почему со-

гласия не дал. Виделись они часто, почти каждый день, подолгу гуляли и внутри лавры, и вокруг. Феодосий не знал древнееврейского, но перевод Ветхого завета, который тогда делали и по главам присылали на отзыв, ему не нравился, каждый раз он приносил Шейкеману бумажку с несколькими библейскими стихами и спрашивал его мнение.

Феодосий был духовным отцом Шейкемана, исповедовал его, знал о нем всё, но, когда Шейкеман года через полтора вновь попросил его о пострижении, наотрез отказал ему, запретил и думать, да еще накричал. Дня через два он сам вернулся к этому разговору и сказал, что Шейкеман должен подготовиться к экзаменам за курс семинарии, сдать их и принять сан, с его способностями и знаниями года на это за глаза хватит. Шейкеман подчинился.

В апреле восемьдесят второго года он успешно сдал экзамены, почти сразу женился на дочери покойного фряновского попа отца Сергия Наталье, а летом того же года очень торжественно, в присутствии Московского митрополита и многих троицких монахов, был посвящен в сан и получил приход своего покойного тестя. Фряновским отцом Петром он прожил всего два года. Брак его начался счастливо, уже в конце первого года супружества Наталья родила ему дочь Ирину (крестным был отец Феодосий), ждали еще ребенка, но весной восемьдесят пятого года Наталья простудилась, слегла и в неделю умерла.

Ирина тогда только что научилась говорить «мама» — и два месяца почти всё время звала ее: «Мама! Мама!». Отец Петр думал, что сойдет с ума. Так она просто звала, а когда кто-нибудь приходил, кричала, только кормилицу иногда подпускала, и то ночью, во сне, не разбирая, — тогда ее и кормили. Похудела она страшно, весила как годовалая, и врачи думали, что не выживет. Через год Ирина перестала звать мать, забыла это слово и потом, даже когда выросла, всегда была уверена, что мать предала ее и бросила.

В отца она была влюблена, и он в нее тоже. Вскоре после смерти жены отец Петр оставил приход, снова переехал в Сергиев

Посад, но пострига, хотя Феодосий теперь предлагал, не принял, остался в миру, чтобы по-прежнему жить с Ириной. Феодосий сделал его в лавре библиотекарем, и он прослужил на этом месте до самой смерти в 1901 году.

Кроме Ирины и своих непосредственных библиотечарских обязанностей, он позже, отойдя от смерти жены, много занимался двумя темами. Первая была связана с Ветхим заветом, грехопадением Адама, идолопоклонством его потомков, обращением и избранием Авраама, обетованием ему и его роду. Как мне кажется, жизнь рода, жизнь в роде были главными для его понимания всей начальной библейской истории, всего — и смерти, и спасения, и праведности, и греха. Эта его история человеческого рода — его начала, продолжения и конца — во многом повторяла историю его семьи и его самого: Речицу, Шипку, крещение в лазарете, рождение Ирины, то, что она выжила.

Об отношениях Бога и человека он писал в нескольких десятках писем (в основном Феодосию), еще больше осталось дневниковых записей — обычно в виде комментариев к цитатам из Библии, но ничего целого, завершенного я не нашел. Я сам пытался свести эти записи воедино, выписал их по годам, сгруппировал, разделил на главы, но работа мне не давалась. Много, хотя и записанное другими словами, на мой взгляд, повторялось, в некоторых записях Шейкеман противоречил себе, еще больше было таких, которые я просто не понимал, поэтому тот текст, который я в конце концов сделал и который пойдет ниже, — это не столько текст Шейкемана, сколько мое понимание того, что он хотел сказать, возможно, весьма далекое от его мыслей.

«...Между начальным, установленным в третий день творения ходом жизни — “И сказал Бог: ...И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что *это* хорошо”, — и всей судьбой человека, всей историей отношений между Богом и человеком было противоречие, корень которого

в грехопадении Адама. Потомки Адама наследуют его грех. После Адама, изгнанного из рая, после Каина, убившего брата, люди всё дальше и дальше отходят от Бога, и Господь, видя, как множится зло, решает уничтожить человеческий род, но потом всё же спасет его ради одного праведника — Ноя. Но и после Ноя грех человеческий не прерывается. Уже после потопа будет время строительства Вавилонской башни, время богоборчества: «И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес; и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли» (Быт. 11 : 4)».

В переписке Шейкемана это место из Библии встречается несколько раз, и везде он пишет, что люди не думали о возвращении на небо, они хотели лишь сказать Господу, что могут сами, без Бога, вернуться туда, откуда были изгнаны, что они не нуждаются в Боге. Время строительства Вавилонской башни — время ревности к славе Господней — «сделаем себе имя» — первый акт человеческой, без Бога, истории, осознание своей силы как богоравной, попытка утвердить себя людьми — царями всего сущего. После Ноя был и долгий век язычества, век до Авраама, предки которого, жившие в Уре Халдейском, были идолопоклонниками (Иисус Нав. 24 : 2).

С Авраама начинается медленный путь спасения человека. С Авраама же, в самом Аврааме, происходит раздробление и разделение рода человеческого на народ, избранный Богом, и на народы, получившие благословение, но не избранные Богом. Авраам через Агарь и Хеттуру продолжает идущую от Адама и Ноя линию праотцев, через них он порождает многие народы, расселившиеся по земле, народы почти сразу же многочисленные и сильные, а через Сарру по чуду Господню начинает избранный народ.

Авраам, продолжая род праотцев, сам шаг за шагом выходит из него, чтобы начать избранный народ. Он продолжает единую жизнь человеческого рода, неразрывную цепь зачатий и рождений, и с него, с Авраама, начинается путь многократного и полного разрыва всех старых родовых связей. Господь говорит Ав-

рааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе» (Быт. 12 : 1). Дважды Господь обещает Аврааму дать ему сына от Сарры, его любимой жены, и дает его только тогда, когда ни Авраам, ни Сарра уже не верят в это, не верят в обетование (здесь первый и последний раз неверие Господу есть благо). Неверие Авраама и Сарры означает, что та жизнь рода, которой жили их предки из поколения в поколение, предки, молившиеся чужим богам, через Сарру продлиться не может: «Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных; и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось» (Быт. 18 : 11).

Неверие Авраама и Сарры означает знание их, что только чудо Господне может дать Аврааму сына от Сарры. Дважды в Библии Господь называет себя «Богом ревнителем», ревнующим род Авраама к чужим богам: «...Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа; потому что имя Его — “ревнитель”; Он — Бог ревнитель» (Исход. 34 : 14); «Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас; Ибо Господь, Бог твой, который среди тебя, есть Бог ревнитель» (Втор. 6 : 14–15). Господь ревнует к богам, которым молились предки избранного им Авраама. Он знает, что жизнь человеческая непрерывна и акт ее творения однократен, он помнит, что Авраам плоть от плоти своих предков, плоть от плоти всех праотцев до Адама, что предки Авраама по вере своей из поколения в поколение просили других богов о плодовитости жен, стад, полей, о защите от врагов, приносили им благодарственные жертвы, и за рождение Авраама тоже; а значит, по вере их, Авраам, избранный Господом, — сын Фары, сына Нахора, сына Аруха... обязан жизнью прежним богам, а ему, Господу, — только избранием, и потомки Авраама тоже, и потомки его потомков, и так до скончания века. После рождения Исаака Господь снова испытывает Авраама и его веру, требуя принести Исаака Ему, Господу, в жертву. Он как бы спрашивает Авраама, чей сын Исаак, — его, Авраама, или сын чуда Господня, сын, дарованный ему Богом, которого Авраам должен вернуть. Авраам соглашается

принести Исаака в жертву, возратить его Богу, и Господь оставляет Исаака Аврааму.

Разделение человеческого рода не завершается рождением Исаака. Потом в самом малом для живого человека пространстве, в утробе матери — в утробе Ревекки, жены Исаака, будут бороться две части рода человеческого, равные во всём, равные, как только может быть равно живое, и Господь изберет Себе из этих двух частей одну, и тогда навсегда разойдутся пути частей человеческого рода: «Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это? И пошла спросить Господа. Господь сказал ей: два племени в чреве твоём, и два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему» (Быт. 25: 22–23).

Путь спасения человеческого рода, начатый с Авраама путь от избранного Богом одного человека до избранного народа Божьего, многочисленного, как звёзды и морской песок, медлен. Три поколения идет очищение от грехов праотцев, разрыв Авраама и его потомков — Исаака и Иакова — с предками Авраама, разрыв в вере и в наследовании жизни. У истоков избранного народа — нарушение всех обычаев: и избрание наследника, и дарование первородства, и благословение — дело не отца, главы рода, а посредством отца — Бога. Только потом, с сыновей Иакова, начинает Господь избранный народ. С сыновей Иакова нить жизни, которой Господь не давал прерваться, но и не множил, двоятся, троится и, наконец, переплетаясь всё гуще и гуще, образует из семей, родов, колен — народ.

О значении Иакова как первого очищенного от грехов предков, как отца избранного народа, о его богоравности говорит борьба Иакова с Богом у Пенуэла: «И остался Иаков один, и боролся Некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал: отпусти Меня; ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал:

отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь» (Быт. 32: 24–28).

В одном из писем Шейкемана к Феодосию есть место, которое, как мне кажется, наиболее близко сделанной выборке. Во всяком случае, именно с ним я сверял ее и по мысли, и по тому, как она строилась. Оно коротко, и я приведу его здесь: «Рождение евреев, рождение избранного Богом народа — главное чудо Ветхого завета. Поэтому их путь от одного человека до многочисленного народа, всё связанное с родом, продолжением рода, генеалогией, занимает едва ли не треть Ветхого завета и, как кажется, одна из важнейших его частей. Измаил-первенец и сыновья Авраама от Хеттуры становятся родоначальниками многих народов, но не становятся евреями, не участвуют в Завете, изгоняются из евреев, они — продолжение старого рода. В детях Ревекки, Иакове и Исаве, не так, как у Агари — служанки и Сарры — любимой жены, а в одной утробе сошлись старый род и новый; сильный, независимый Исав победил — родился первым и ушел, выпал из народа, из евреев, он не нуждался в Боге. Бог выбрал Иакова».

В одном из последних писем Шейкемана к Феодосию (кажется, оно даже не было послано, в фонде Феодосия его нет, а в фонде Шейкемана я нашел только многократно переправленный черновик) Шейкеман снова, после десятилетнего перерыва, возвращается к начальной истории евреев и пишет: «Завет Бога с Авраамом, Исааком, Иаковым, со всем еврейским народом вечен, так же как он вечен с каждой частью этого народа, с каждым евреем. Воскресение в Ветхом завете не индивидуальное, а родовое. Человек воскреснет с родом, он воскрешает своих предков и воскреснет в своих потомках. Вечный Завет с Богом нигде не должен прерваться, ничей род не должен кончиться и оборвать Завет. Семья погибшего должно быть восстановлено его братьями, нить должна быть соединена и идти дальше».

Второй темой, которой Петр Шейкеман долго и внимательно занимался, была история России. Под Шипкой, а потом в лазарете история России стала и его историей, его стала вера, на-

род, страна, и все-таки он был еще чужак, а дочь его Ирина, плоть от плоти его, была уже своя, была частью, и, как я теперь понимаю, он изучал историю России как историю ее, Ирины, как ее прошлое. Кажется, себя он считал точкой, где ломается линия, точкой перелома, кончившей собой одну жизнь и начавшей другую. Завет с Богом, в котором жили его предки три с половиной тысячи лет, был им прерван, он отсек и был отсечен от него. Началом другой жизни была Ирина.

Я уже говорил, что свою дочь он любил безумно. Вся его жизнь после рождения Ирины была подчинена ей. Буквально каждый шаг, сделанный им после смерти жены, легко объясним, если мы поставим перед ним: «для Ирины». В то же время в его отношениях с ней был страх, этот страх шел от убеждения, что на нем всё должно кончиться. После смерти Наташи Ирина дважды тяжело, почти безнадежно болела, и оба раза Шейкеман находился на грани умопомешательства. В дневниках не только в это время, а почти на каждой странице он обвиняет себя, что не ушел в монастырь, как собирался, что послушался Феодосия и женился.

Убеждение, что он проклят, никогда не оставляло его. Иногда в конце этих обвинений он приписывал доводы-вопросы в пользу того, что Ирина все-таки будет жить: переправа через Дунай, Шипка, почти все погибли, а меня Господь спас — почему? Врачи говорили, что ранение у меня смертельное, а я выжил — почему? Однако даже в самые светлые для него периоды жизни — выздоровление Ирины, ее брак с Иоганном Крейцвальдом, рождение внука Федора — записи за это время он потом, в конце жизни, очертил красными чернилами и на полях обозначил: «По-видимому, Господь простил мой грех», — так вот, и в эти дни он не верил, что Господь действительно простил его, а думал, что Господь лишь смягчился к нему.

Молясь об Ирине, Шейкеман по-детски хитрил: никогда не называл ее дочерью, прятал ее имя среди имен других людей, за которых молился, в том числе двух Ирин. Самой Ирине он почти ничего не рассказывал о своей жизни до крещения, это

была запретная тема, и Ирина, несмотря на то, что правила отцом самодержавно, не смела ее касаться. Прошлое он отсек и за себя и за тех, кто будет после него.

Ирина почти не помнила рано умершую мать, а Шейкеману нужно было, чтобы она связывала себя только с Наташей, продолжала только ее, это было главной его целью, на это он ставил, пытаясь спасти Ирину. Он всегда, во все времена своей жизни, от смерти жены до своей смерти, исходил из того, что родство с ним несет Ирине гибель, а родство с матерью — спасение. В дневнике на второй день после ее похорон он записывает для себя, но надеясь, что и не только для себя: «Если бы у меня был сын, он бы наследовал мне; Ирина дочь своей матери — и только». Один воспитывая Ирину, Шейкеман выставлял себя лишь посредником между умершей матерью и Ириной. Всё, что было в жизни Ирины хорошего, всё, что, как замечал Шейкеман, тронуло, обрадовало ее, приписывалось матери, мать или сама делала и говорила ей это, или, не успев, умирая, завещала Шейкеману.

Кроме такого «посредничества», Шейкеман, пытаясь связать Ирину с матерью, рассказывал о ней сотни разных историй. В конце концов для Ирины эти истории превратились в главную часть дня, без них она отказывалась ложиться спать, их ждала весь день. Прожив с женой только два года, Шейкеман, в сущности, знал ее довольно плохо, тем легче ему было придумывать. Через год в дневнике он записал, что совсем не помнит Наташу, что то, что он рассказывает Ирине, подменило ее. На исповеди он каялся в этом Феодосию, и тот сказал, что это большой грех, и наложил на него епитимью. Однако прекратить рассказы ни Шейкеман, ни его дочь уже не могли.

О взрослой Ирине сохранилось много разного рода свидетельств. Ее знали, ей посвящали стихи, но на первые роли она так никогда и не вышла, даже в теософских обществах, которые сама организовывала. То, что есть о ней и в письмах и в воспоминаниях, очень кратко. Это небрежение, кажется, связано не с ее собственной неяркостью, а с быстро наступавшей усталостью.

стью, период запала почти сразу сменялся апатией, и она уходила в тень. Нигде она не успевала утвердиться и так и осталась везде или как Ирина, или под инициалами И.Ш. Была она, пожалуй, красива, но лицо ее портили резкость и нервность, черты лица были беспокойны, быстро менялись, то, что она думала, сразу отражалось в них, и эта занятость лица мешала ей. Быстрая усталость была в ней от внутренних неурядиц, о которых она никогда не могла забыть. Всё же иногда она отвлекалась, переставала думать и терзать себя, и сразу ее тонкое подвижное лицо становилось мягким и плавным, в нем появлялась удивительно красившая ее медленность полной женщины, она становилась похожа на свою мать и была тогда необычайно хороша. В нее были многие влюблены, и все видели, помнили, знали именно эти минуты. С раннего детства она была очень нервной, эта нервность потом усилилась и перешла в болезнь. С пятнадцати лет за ней наблюдал Ганнушкин, и только благодаря ему она не стала постоянной пациенткой нервных клиник. Крови, которые сошлись в Ирине, были чересчур разные, они не смешивались и мучились в ней.

Она была влюблена в отца, преклонялась перед ним, и в то же время, будучи сама истовой христианкой, она, сколько себя помнила, считала его еретиком, не верила в его православие. Почти всю свою жизнь до замужества она провела в Сергиевом Посаде, среди стоящей над всем и всё организующей монастырской жизни, с пяти лет она каждый день с отцом отстаивала целиком обедню, с тех же лет пела в хоре. Эта жизнь — с перезвоном колоколов, с обычными и праздничными службами, с пением, молитвами, ладаном и свечами — была ей привычна, и она не сомневалась, что, когда вырастет, уйдет в монастырь, будет молиться за отца и спасет его. Иногда она плакала, что ни от чего не отказывается, ничем не жертвует, что сама хочет этой жизни. Позже, когда ей исполнилось шестнадцать и отец определенно высказался против ее ухода в женский Спасо-Евфимьевский монастырь, она начала думать о нормальной, обычной жизни, начала хотеть ее, за что потом, довольная, корила

себя и каялась; всё равно она была уверена, что уйдет в монастырь, — но теперь ей было радостно, что она уйдет не с пустыми руками, что ей есть, чем жертвовать.

Когда Ирине исполнилось десять лет, Шейкеман стал на лето снимать один из флигелей барского дома в том же Фряново, где он раньше священствовал. Это было сделано по рекомендации врачей, считавших, что чем больше времени Ирина будет проводить на свежем воздухе, вне монастырских стен, тем будет для нее лучше. Фряново Шейкеман выбрал не только потому, что прожил здесь несколько лет и любил эти места, он ехал сюда за тем, что передать в ежедневных рассказах Ирине ему почти не удавалось. Впервые за долгие годы оказавшись в своем старом приходе, он был поражен, что здесь всё по-прежнему знало и помнило Наташу. Тогда, в этот предварительный — на один день — приезд, надо было договориться с управляющим, нанять прислугу, уладить хозяйственные дела... Ничего этого он не любил и не умел делать, и всё равно, несмотря на суету, на хождение то в деревню, то в поле, везде, где бы и когда бы он ни был, рисовалась ему Наташа, и он каждый раз удивлялся: сколько времени прошло, а ее место так и осталось ее. И когда они наконец через две недели переехали сюда, всё то лето, как бы лето их возвращения, он ничего не рассказывал Ирине, они только ходили, гуляли и смотрели.

Барский дом, в котором они поселились, был построен еще в середине XVIII века. Большой, с колоннами и куполообразной крышей над танцевальной залой, он к этому времени уже давно пришел в негодность и был нежилым. Два флигеля были пристроены к главному зданию лет на сто позже, их и сдавали дачникам. Дом стоял очень красиво, на высоком, но не крутом холме, у подножия которого начиналось довольно большое озеро.

С берега была видна только его часть, как бы залив, дальше неширокая горловина и то ли остров, то ли берег за ней. От колонн же главного входа и особенно с перил почти развалившейся парадной лестницы, между и поверх лип, озеро было видно всё: два острова, густо заросшие березой и осиной, с большими

темными пятнами старых дубов, ближний — весной, когда сошел снег и стояла высокая вода, — делился почти посередине на две части, и считалось, что, если протока до конца июня не пересохнет, хлеб должен уродиться; дальний остров был меньше, назывался он Святым и походил на круглый и крутобокий шлем с огромной черной елью на вершине, которая издали напоминала шпиль протестантской кирхи. По преданию, на нем когда-то был скит одного из троицких монахов. Сразу от лестницы к озеру вела длинная аллея высоких прямоствольных лип, которая была заложена вместе с домом. Только одно из полутора сотен этих деревьев уродилось не таким: кора его была перелита, и ствол на высоте пяти метров круто изгибался, пересекал всю аллею, и там, на той стороне, листва его мешалась с листвой других деревьев. Кажется, липа была другого вида, и ошибившийся в саженцах садовник, как рассказывали, был повешен на этом несчастном дереве.

Метров за пятьдесят от озера, там, где спуск становился совсем пологим, аллея почти незаметно переходила в парк. Сторона была южная, липы хорошо держали тепло, и ближе к вечеру, когда после чая все выходили гулять, здесь было тихо и градусов на пять теплее, чем наверху, у дома. В середине июля, когда вода в озере прогрелась и тоже, как и липы, стала греть воздух, Шейкеман и по вечерам начал разрешать Ирине купаться в маленькой, на конце мыса, купальне. К следующему сезону был окончен ремонт второго флигеля, и владельцы сдали его тоже вдовцу, профессору Московского университета Генриху Христофоровичу Крейцвальду, поселившемуся там со своим сыном.

Профессор Крейцвальд был родом из Брауншвейга, двадцати восьми лет он навсегда переехал в Россию, перешел в православие, был женат на русской, и тоже недолго — четыре года, она умерла от туберкулеза. Уединенная жизнь в имении, внутреннее сходство и сходство судеб быстро сблизили Шейкемана и Крейцвальда, и потом они подряд в течение десяти лет друг из-за друга и из-за детей снимали на лето оба флигеля. В год их

знакомства сыну Крейцвальда, Иоганну, исполнилось семнадцать, он только что окончил гимназию и готовился к поступлению в университет.

Бывал он тогда во Фряново очень редко, короткими наездами, и виделся с Ириной лишь несколько раз. И она и он помнили, что уже в конце лета, в последние дни августа, они ходили вместе за грибами, ходили очень долго, Ирина тогда совсем устала, грибов они почти не набрали, было сухо, и Иоганн, злой от неудачи и от Ирины, которую ему навязал отец, посадил ее под какое-то дерево, сказал, что вернется через час, и ушел. Сначала она плакала, но не звала его, — после матери она, кажется, не звала уже никого, потом легла и, плача, заснула. Иоганн нашел ее только через два часа, он был очень испуган, сорвал горло, аукая и крича ей, и, когда случайно наткнулся на нее спящую, поразился, как она хороша. Будить ее он не стал, сел рядом, достал папиросы и курил, пока Ирина не проснулась. Вернулись они уже на закате, в доме сильно волновались и собирались идти их искать. В то лето они, кажется, больше не виделись, но всё следующее Иоганн, отказавшись от поездки в Германию, на родину отца, безвыездно провел во Фряново, понимая, что безнадежно влюблен в Ирину. Эта неразделенная любовь длилась восемь лет и завершилась счастливо — их браком.

Брак Иоганна и Ирины был задуман двумя отцами почти сразу после их знакомства, много раз планы их должны были сорваться, всегда по вине Ирины, но к восемнадцати годам она, кажется, устала от борьбы, привыкла к ней; отказов было столько, что стало ясно, что этот брак — некая постоянная величина в ее жизни, и она сама хочет знать, от чего отказывается. Последний разрыв был всего за месяц до свадьбы, и тогда понадобилось личное вмешательство Феодосия, запретившего Ирине, как в свое время Шейкеману, уйти в монастырь. Венчались они 1 августа 1898 года, очень скромно, здесь же, во Фряново, в приходской церкви, отказались от свадебного путешествия и сразу же уехали в Москву.

Первые годы Крейцвальды жили в доме служащих завода «Гужон и К°», где Иоганн отвечал за разработку рецептуры специальных сталей. Это время было лучшим в их совместной жизни. Иоганн был на хорошем счету, очень много работал, пропадая в цехах и в лаборатории до позднего вечера, благо жили они прямо на территории завода, рядом с административным корпусом.

Ирина, много лет готовившая себя к одинокой жизни в келье, свыкшаяся с ней, став женой, неожиданно с рвением занялась хозяйством, чуть ли не раз в месяц меняла прислугу, и, хотя принимали они редко и сами почти не выезжали, у них скоро, меньше чем через год, появился свой круг знакомых. Даже то, что Ирина оказалась совсем холодной, не портило их отношений. Кажется, сначала Иоганн обвинял себя в неопытности, считал, что мучает Ирину, но потом, увидев, что она по-прежнему ровна и ласкова с ним, что здесь нет никакого притворства и то, что происходит в постели, в самом деле ей безразлично, успокоился. Через полгода он вдруг понял, что Ирина нравится ему именно такой, что ему нравится, что она осталась маленькой и ничего не понимающей девочкой, какой была в десять лет, на даче во Фряново.

Через полтора года после венчания Ирина забеременела и в самом конце 1900 года родила крупного, здорового мальчика, которого назвали в честь отца Феодосия Федором. Петр Шейкеман еще успел увидеть внука, на кладбище Троице-Сергиевой лавры сторож помог мне разыскать его могилу: на каменном кресте есть дата смерти — 12 апреля 1901 года.

Первый год брака принес удовлетворение и Ирине: она выполнила то, что хотел и о чем просил ее отец, со смирением подчинилась духовному наставнику — отцу Феодосию, сделала счастливым, а может быть, и спасла Иоганна. До брака она боялась своего тела и, когда страхи не оправдались, была рада, что осталась чиста, что то, о чем кругом говорили все, и Иоганн тоже, она ни разу не испытала. Она видела, что Иоганн считает себя виноватым, и жалела его.

В последние месяцы беременности, когда Ирина стала чаще и больше оставаться дома одна, она подвела первые итоги их жизни и решила, что в миру она, пожалуй, сделала больше добра, чем если бы ушла в монастырь. После рождения ребенка — роды были очень тяжелые, ее с трудом спасли, и потом она долго болела — отказ от монастыря всё чаще начал представляться ей жертвой и ее жизнь здесь, в миру, — служением. Иногда она сравнивала свое зачатие с непорочным зачатием Марии.

Лето после рождения сына она, несмотря на недовольство врачей, провела во Фряново. Теперь, когда отец умер, она надеялась, что что-то должно перемениться и в ее отношениях с матерью. Для этого она и ехала. Десять лет назад об этом думал Шейкеман, привезший ее сюда, на родину Наташи, на место, где родилась и она. Тогда всё осталось по-старому; теперь она, в свою очередь, привезла сюда своего сына, его внука. Она хотела тихо, одна прожить здесь лето, смотреть, как он растет, гулять. Во Фряново она взяла с собой только няньку, да раз в неделю, на воскресенье, приезжал Иоганн. С погодой ей повезло, после долгой снежной зимы лето было очень теплым (с конца июня она уже ходила купаться, поправилась, повеселела), все сделанные ей во время родов разрезы зарубцевались, и главное, почти перестали болеть почки, мучившие ее зиму и весну.

В середине августа, когда пошли дожди, она отправила Федора с нянькой в Москву и провела неделю во Фряново совсем одна, даже сама топила. Того чуда, которого она ждала от этого лета, не произошло, это была ее последняя попытка примирения и любви к матери, во Фряново она тоже никогда больше не была. 22 августа за ней приехал Иоганн, и в тот же день вечером они вернулись в Москву.

Чувствовала она себя прекрасно и даже разрешила мужу впервые после рождения ребенка остаться у нее. В ту ночь он был очень страстен, она гладила его по голове и радовалась, что ему хорошо. Под утро он стал будить ее снова, она очень устала и никак не могла проснуться, во сне она не понимала, зачем он ее будит, зачем трогает, целует и не дает спать. Когда он вошел,

она, тоже в полусне, подумала, что уже скоро и что под ним хорошо — тепло. Когда-то давно, когда она была маленькая, Шейкеман каждый вечер перед сном заходил с ней проститься, часто он сидел подолгу, что-то рассказывал или просто держал ее руку, пока она не засыпала, иногда он соглашался почесать ей спину. Сейчас, во сне, она вспомнила, как вытягивалась, замирала, и его большие широкие пальцы двигались по коже. Сначала спина немела, покрывалась мурашками, но ногти всё сильнее и мягче скользили по ней, они поднимались вверх, вдоль позвонков, почти до волос, потом по шее, по плечу спускались вниз, к рукам, и около лопатки по одному, продолжая скользить, снова перебирались на спину, здесь было широко, и она не знала, куда они пойдут дальше. Ногти выпрямляли, разглаживали ее; слабея, она делилась, распадалась на части, которые оживали под его пальцами и снова замирали, когда они уходили. Теперь всё это было у нее в ступнях. Сначала она хотела, чтобы всё кончилось, потому что помнила, что она уже не маленькая и отца нет — он умер, — но когда кончилось, она испугалась, затаилась и стала ждать, где начнется снова. Потом ей приснилось, что Иоганн — ее сын, что он растет и зреет в ней, вверху ног ей стало щекотно, щекотка была всё сильнее, она уже не могла терпеть ее, стала биться, вырываться, и вдруг большие, сильные спазмы пошли по ней вверх и вниз, она забилась под Иоганном, и, уже ничего не понимая, сжимала его и кричала. Потом в ней всё замедлилось, сошло на нет, но она еще долго, словно боясь, что то, что было, вернется, лежала, не шевелясь и не открывая глаз.

Иоганн гладил ее, целовал, что-то говорил. Она старалась дышать ровно, чтобы он подумал, что она спит, и ушел или хотя бы перестал. Потом она услышала заводской гудок, вздрогнула, потому что забыла о нем, и поняла, что Иоганну скоро пора идти, все-таки она не дождалась его ухода и заснула. Встала она уже днем и, как ни пыталась, молиться не могла. Всё, чем она жила, кончилось сегодня утром и уже было отгорожено сном. Она крутилась среди пяти-шести слов, путалась в них и никак

не могла выбраться. Она плакала и жалела мать, плакала потому, что так и не простила ее, плакала, что умер отец, что Феодосий не дал ей уйти в монастырь, что теперь она как все и ничего не вернешь.

Иногда она, кажется, нащупывала выход, останавливалась и говорила Богу: «Господи, моей вины здесь нет, я этого не хотела», — и сразу же понимала, что есть, и снова плакала о матери, монастыре, отце и себе. Потом она вспомнила, что недалеко, всего в двух кварталах от них, есть маленькая церковь Николая Угодника, она уже несколько раз была в ней и знала, что в это время там совсем пусто. Она вышла из дома, шел сильный дождь, она забыла накидку, но возвращаться не стала и уже на полпути промокла насквозь. Было холодно, ее била дрожь, и она понимала, что теперь стала настоящей кающейся грешницей и что так ей будет легче молиться. В церкви она пробыла очень долго, до самого заводского гудка, кончающего смену, и, возвращаясь, в дверях, столкнулась с Иоганном. Она сказала ему, что у нее разошлись швы, что она была у врача и что вместе им можно будет быть не раньше чем через год. Иоганн плакал, целовал ее, просил прощения.

С того дня она утром, как только Иоганн уходил на завод, шла в ту же самую церковь Николая Угодника. В храме, справа от алтаря, был небольшой притвор с темной, совсем без оклада иконой, на которой дева Мария держала на руках младенца Иисуса Христа. Ей нравилось, что утром она первая зажигала у иконы свечу, что икона без оклада и есть не только лица, но и руки, ступни младенца, одежды, что по краям иконы, на клеймах, написано и «Поклонение волхвов», и «Тайная вечеря», масляная гора, храм и крепостная стена, что икона большая и свеча не может осветить ее целиком, и, когда сквозняк наклоняет пламя, видно то одно, то другое. Здесь она молилась почти до обеда, всегда одна — таким узким был притвор — и верила, что устоит. Выйдя из церкви, она каждый раз несколько минут стояла на паперти, привыкая к яркому свету, а потом, если не было дождя, шла гулять.

Обычно по одному из грязных замоскворецких переулков она выходила к реке, по которой сейчас, в конце августа, часто плыли большие баржи и пароходы. Они были выше домов, складов, пакгаузов, и их палубы и капитанские мостики, поворачивая вслед за рекой к центру города, медленно переходили с одной улицы на другую. Ей нравилось смотреть на воду, на то, как баржи, встречаясь, плавно качают друг друга, нравилось, что их гудки гуще и увереннее, чем заводские.

Все эти дни Иоганн был особенно мягок и заботлив с ней, почти каждый вечер они выезжали в театр или ресторан. В субботу, 6 сентября, они были в Большом, слушали итальянскую оперу, в театре она выпила два бокала вина, ей было хорошо, весело, она была благодарна Иоганну, любила его. Выходя из театра, она вспомнила, что Иоганн после свадьбы говорил ей, что мечтает о трех сыновьях, что она их ему обещала, теперь ей было грустно, что трех сыновей у них не будет. Дома они разошлись по своим комнатам, она разделась, легла и в постели поняла, что больше не может. Она снова вспомнила, как он сказал ей, что хочет трех сыновей, и как она ему ответила, несколько раз, чтобы не ошибиться, повторила весь разговор про себя, потом встала и теперь вслух медленно сказала: «Иоганн, у тебя будет три сына» — и, не одеваясь, голая, через всю квартиру пошла к нему. Всю ту ночь она провела у Иоганна, и каждый раз, когда у нее начиналось, всё быстрее, как заклятие, шептала: «Я рожу тебе трех сыновей», а потом уже, ничего, кроме этого, не помня, орала: «Трех сыновей! Трех сыновей!».

В течение месяца она освоила всё, что Иоганн мог ей дать, но, словно в равновесие за первый год брака, не могла насытиться. По пять-шесть раз за ночь по дому разносился ее крик: «Трех сыновей!» — она уже знала, что Иоганн тяготится ею, боится и стесняется ее криков, что прислуга считает, сколько сыновей она зачала за ночь, и смеется над ней, что от прислуги о трех сыновьях знает весь дом, и Иоганна знакомый инженер уже спрашивал, как он прокормит столько детей.

В начале зимы Ирина поняла, что из этого дома надо уезжать. После нескольких скандалов она добилась от Иоганна увольнения прислуги — он считал, что поведение кухарки и горничной вполне понятно, что они ни в чем не виноваты и увольнять их безнравственно, — а сами они из заводской квартиры переехали к отцу Иоганна, а потом, после месяца поисков подходящего жилья, в конце концов поселились на последнем этаже большого доходного дома на Солянке. Здесь их никто не знал, а кухаркой Ирина предусмотрительно наняла какую-то полуглухую деревенскую девку. На Солянке их жизнь, хотя они постепенно расходятся всё дальше, успокаивается.

После переезда Иоганн стал меньше бывать дома, до завода надо было добираться час, и на самом заводе нередко приходилось задерживаться почти до ночи. Карьера его пошла круто вверх, он был назначен начальником строящегося прокатного стана, самого современного в России, — будущей сердцевины всего завода. Хотя основное оборудование поставляли крупновские заводы, дирекция компании согласилась с проектом Иоганна усовершенствовать стан и катать на нем листы стали разной толщины. Всё, что было надо для этого, делалось здесь же, на заводе, и требовало его почти постоянного присутствия. Квартира на Солянке была много меньше заводской, они не стали нанимать няньку, и Ирина сама почти весь день занималась Федором. Ожидая Иоганна (по-прежнему до его прихода она никогда не ложилась спать), думая о нем, о постели, всё время ловя себя на том, что почти до онемения сжимает ноги, она так свыклась с тремя сыновьями, что, и говоря, и играя с Федором, то и дело, забывшись, начинала рассказывать ему о будущих братьях — Коле и Сереже, — она уже давно придумала им имена. Часто Ирина путала время, получалось, что Коля и Сережа уже есть сейчас, что они сидят рядом с Федором и втроем слушают ее.

Ночи по-прежнему были для нее и Иоганна самым тяжелым. Уже ложась в постель, Ирина знала, что Иоганн устал, что он опять будет бояться ее криков, что она всё равно будет кричать,

что ей снова не хватит, и завтра она встанет возбужденной, раздраженной, и что так будет весь день, до следующей ночи. Утром, когда он уходил, она часто плакала, без дела ругалась на кухарку и успокаивалась только тогда, когда Федор просыпался и она, еще сонного, брала его в постель, а потом давала вволю играть среди подушек и одеял.

Три года она не могла забеременеть. Лет через пятнадцать после рождения Федора она скажет своей подруге Татьяне Глучиной, что вспугнула своих детей, цепляясь за них днем и ночью. По рекомендации врача она перебивалась у многих тогдашних московских светил, они находили, что у нее всё в порядке, что скоро она забеременеет и что единственная помеха этому ее нервы, которые вконец расстроены и которые, если она хочет, чтобы ребенок был здоров, надо лечить. По их совету она принимала разные порошки, но результата не было, и она перешла на травы. Через полгода она поняла, что беременна.

На третьем месяце она несколько раз в день стала подзывать к себе Федора, он прижимался ухом к ее животу и подолгу слушал, как там живет и двигается братик Коля. Когда она была на четвертом месяце, Федор попросил ее наклониться, закрыть глаза, открыть рот и сам — она ничего ему не подсказывала — закричал туда: «Миленький, ты слышишь меня? Я тебя люблю». Ирина тогда ждала, что он даст ей подаренную утром конфету, а когда поняла, что случилось, в восторге стала обнимать его, целовать. Всё это было прощением ей: и то, что она забеременела, и то, что у нее такой добрый сын, и то, что она его таким воспитала. Кажется, впервые за время их брака она позвонила Иоганну на завод, насилу дождалась, пока его найдут и позовут к телефону, стала рассказывать, потом неизвестно почему расплакалась, говорить уже ничего не могла, и только когда он сказал, что сегодня приедет рано, а сейчас — всё, пора кончать, повесила трубку.

Вернулся он действительно рано, они вместе сели обедать, она отпустила кухарку и подавала сама. Ей было необыкновенно приятно кормить его, то, что она сама ему прислуживает

и он ест как бы из ее рук, ждет, когда она нальет ему супа, положит сметану. Она понимала, что опять любит Иоганна, что счастлива, что именно от него у нее будет три сына. Она думала: как хорошо, что он женился именно на ней, что она послушалась отца Феодосия и своего отца и дала согласие, — теперь ей страшно было подумать, что было бы, если бы тогда она отказала. Хорошо было и то, что он долго любил ее еще до этого согласия и всегда хотел, чтобы именно она родила ему трех сыновей.

После обеда они пошли в детскую, и Федор, как она и мечтала, забрался к ней на колени, опять потребовал закрыть глаза и открыть рот и снова, как утром, кричал в нее: «Миленский, я люблю тебя, слышишь?» Иоганн был тоже растроган, взял ребенка к себе и весь вечер до сна одну за другой рассказывал ему сказки. С утра у нее впервые, как после родов, болел живот, и потом, когда они уложили Федора и он заснул, она сказала Иоганну, что боится всяких неприятностей и сегодня к нему не придет. Потом, уже лежа в постели, когда от пузыря со льдом боль постепенно стала уходить, она снова поняла, что любит Иоганна, что хорошо, что до родов спать вместе они уже больше не будут, что срок испытания ее кончился, она очищена и они с Иоганном опять такие, какими были четыре года назад.

Через два месяца, когда боли у нее еще усилились и она почти не вставала с постели, их домашний врач, доктор Кравец, пригласил на консультацию гинеколога, и тот после краткого осмотра сказал, что у нее обширное запущенное воспаление матки и она не беременна. С того дня их отношения с Иоганном прерываются. Они редко видятся, еще реже разговаривают и совсем не вступают в жизнь друг друга. Федор остается на ней, это ее часть. Почти всё время Ирина проводит с ним. Сначала она собирается сказать ему, что у него не будет братика, но боится и не может подобрать слов.

Первый раз после болезни выйдя из дома, она покупает в магазине на Арбате пять больших взрослых кукол и одного ребенка. Это — ее мать Наташа, Шейкеман, отец Феодосий, Иоганн и она, ребенок — Федор. День за днем куклы повторяют ее

жизнь. В противоположном от окна углу детской Ирина строит из кубиков большой красивый монастырь. Четыре взрослые куклы не пускают куклу Ирину туда. Федор — судья. Она боится, что он осудит ее. Он смотрит на кукол, слушает, что они говорят, но сам никогда до них не дотрагивается. Сначала есть только пять кукол, потом, когда у Ирины рождается сын, появляется маленькая — шестая. Федор понимает, что это он. На следующее утро после дня его рождения она не находит больших кукол, а ее кукла и маленькая, шестая, сидят внутри монастыря, приклонившись к церкви.

Через три месяца она говорит Федору, что его брат Коля родился. Теперь они всегда вместе, он играет с ними, ест, спит, гуляет. Два года спустя воспаление у Ирины повторяется, и, хотя на этот раз диагноз поставлен сразу, она считает, что снова беременна, и через девять месяцев в доме появляется ее третий сын — Сережа.

Федор добрый мальчик, он любит мать так же, как когда-то Ирина любила своего отца, он откликается, когда Ирина зовет Колю или Сережу, легко запоминает, когда она рассказывает, что и как они делают, и безошибочно всё повторяет. Ганнушкин, как-то зашедший по просьбе Ирины к ним домой, целый час наблюдал эту игру. В тот же день он заехал вечером, долго разговаривал с Иоганном и Ириной, предупреждал, что они погубят ребенка, потому что вся его нервность и экзальтация связаны именно с этими играми и их немедленно надо прекратить. Когда Ганнушкин уехал, Иоганн впервые кричал на нее, грозил, что разведется и заберет ребенка. Она была сильно испугана, дрожала. Иоганна уже давно — кажется, с их первой настоящей ночи, — она боялась, и была уверена, что он сдержит слово и заберет у нее Федора.

Еще больше Ирина боится, что с Федором уйдут его братья — Коля и Сережа. Чтобы удержать их, она готова на всё. На Федоре она ставит крест. Теперь она играет и разговаривает только с Колей и Сережей. Федора она почти не зовет. Он льнет к матери, старается всё время быть ближе к ней, — а она гонит его

к Иоганну, а рядом сажает Колю и Сережу. Через день он уже знает, что его будут целовать, пустят повозиться в постели, только когда он Коля или Сережа. Он ревнует братьев, потом начинает их ненавидеть. Но без Ирины он не может жить ни минуты, ему всё время нужна ее ласка. Чтобы она занялась им, он уже без ее давления чаще и чаще говорит и ведет себя как Коля и Сережа. Особенно ей нравится смотреть, как ковыляет только что научившийся ходить Сережа, и Федор раз за разом повторяет его. Потом он всю жизнь будет помнить и презирать себя за это.

Месяца через полтора после того, как у нее кончилось первое воспаление, или, как сама Ирина считала, после рождения Коли, она с Татьяной Глучиной, своей знакомой еще по Сергиеву Посаду, начинает посещать собрания мистиков и спиритов. Скоро она становится одной из самых известных оккультисток тех лет. Свидетельство этому ее обширная — больше ста посланий — переписка с Блаватской. На сеансах она разговаривает с Колей и Сережей, ее связь с ними крепнет, и Федор отдаляется всё дальше. Тогда же у нее появляются первые любовники, и она перестает жить с Иоганном.

Разговор с Ганнушкиным не имел для Ирины никаких последствий. Иоганн, как и раньше, весь день проводил на заводе, а теперь всё чаще не ночевал дома. Страх лишиться детей проходит, и отношение Ирины к ним становится более разумным. Она начинает уделять больше внимания старшему — Федору, хотя по-прежнему холодна с ним. Федор перестает чувствовать себя изгоем, но дети не сближаются, а, напротив, расходятся всё дальше, у них совершенно разные характеры, разные интересы, с каждым годом сильнее дает себя знать и разница в возрасте: Федор уже ходит в гимназию и считает себя взрослым. Хотя все они влюблены в нее, отсутствие близости между братьями огорчает Ирину.

Так они доживают до семнадцатого года. После февральского переворота выясняется, что Иоганн еще в 1905 году стал членом РСДРП и все эти годы активно поддерживал большевиков.

Летом он избирается депутатом Учредительного собрания от московского промышленного района и фактически руководит заводом Гужона. Тем же летом Федор с отличием кончает гимназию и осенью поступает в Московское высшее техническое училище. Он явно идет по стопам отца и хочет быть металлургом. Гражданская война раскидывает семью в разные стороны и впервые разъединяет детей. Иоганна назначают директором Путиловского завода, и он берет Федора с собой в Петроград. Ирина с младшим — Сережей — застревает на Северном Кавказе, в Кисловодске. Средний, Коля, учится в Москве, в школе-коммуне Лепешинского.

В двадцать первом году вся семья опять соединяется в Москве. Братья выросли и стали совсем чужие друг другу. Всё, что у них общее, — совсем одинаково, остальное только разъединяет их. Тогда же Ирине удается окончательно утвердить то, что началось семнадцать лет назад. Пользуясь неразберихой после революционных лет и связями Иоганна, она выправляет детям три разные метрики. После возвращения Крейцвальдов в Москву с ними поселяется двадцатилетний оболтус (так он сам себя характеризовал) Александр Крауг, сын любимого университетского учителя Иоганна, профессора Крауга. Александр Крауг был последним любовником Ирины и, кажется, единственным человеком, который знал и дружил со всеми тремя братьями. Он сообщил мне множество ценнейших фактов, но значительная часть того, что он говорил, оказалась ложью.

От Александра Крауга я знаю, что он жил у Крейцвальдов до 1 марта двадцать четвертого года — дня смерти Ирины. Умерла она от инфлюэнцы, и осенью того же года также от инфлюэнцы умер и Иоганн. Оба они похоронены на Немецком кладбище в самом начале кленовой аллеи. Крауг утверждал, что Иоганн знал о его связи с Ириной и нисколько не был этим недоволен. После возвращения в Москву он стал сильно сдавать и побаивался энергии Ирины. Хотя разница между супругами была меньше восьми лет, Ирина скорее походила на дочку Иоганна. Выглядела она прекрасно и умерла совершенно неожиданно

для всех. Сыновей своих Иоганн любил, относился к ним ровно и никогда не отказывал в помощи. По словам Крауга, предусмотрительность Ирины, оформившей детям разные документы, оказалась далеко не лишней, и только благодаря ей после смерти Иоганна им удалось целиком сохранить свою старую квартиру на Солянке.

Через два года после смерти родителей Федор женился на какой-то девке, которая много лет проработала в ЧК, оттуда ее выгнали, год она скиталась неизвестно где, зарабатывала, подцепляя на кладбищах недавних вдовцов, потом познакомилась с одним из Крейцвальдов, кажется со старшим, Федором, но спала со всеми тремя братьями. Как сказал Крауг, выбирала. Потом не без помощи ее друзей из ЧК-ОГПУ два младших брата исчезли, а она вышла замуж за Федора и стала хозяйкой квартиры. Всё это ложь, и мне особенно жалко, что так же относились к жене Федора — Наталье Коновицкой — и прочие родственники Крейцвальдов. Мне удалось разыскать братьев Натальи и ее 93-летнюю мать, которая сейчас живет в Эссентуках, они добросовестно рассказали мне всё, о чем я их спрашивал, и теперь мой долг — восстановить доброе имя Натальи.

Со стороны отца Наташа, или по-полному Наталья Дмитриевна Коновицына, принадлежала к очень старому роду. Ее предки есть уже в Бархатной книге царевны Софьи, куда, как известно, были вписаны только самые родовитые дворянские фамилии. Дед ее вышел в отставку в чине генерала от инфантерии, бабка была фрейлиной императорского двора при Александре III. Их единственный сын Дмитрий тоже пошел по военной части, но уже в тридцать лет, едва дослужившись до майора, был вынужден из-за дуэли покинуть полк. История была темной. В Военно-историческом архиве я нашел рапорт командира полка об этой дуэли, но и сейчас, когда я знаю обстоятельства дела, мне трудно сказать, кто из них двоих был больше не прав: Дмитрий Коновицын или убитый им, тоже майор, Николай Дроздов. Через год после этой дуэли Дмитрий Коновицын женился на дочери разорившегося текстильного фабри-

канта Елене Валовой — одной из первых тогдашних красавиц, будущей матери Наташи. Он был очень ревнив, и мать еще лет за пять до революции ушла от него, забрав с собой Наталью и ее младшего брата Сергея; их старший сын, как и дед — Андрей, остался с отцом.

Крестный Сергея был владелец большого конного завода под Екатеринославом, он очень любил мать Наташи и после развода много ей помогал. Каждое лето они месяц или два проводили в его имении рядом с заводом. Там и Наташа, и ее брат страстно полюбили лошадей, и потом, много позже, в тридцатых годах, Сергей стал одним из самых знаменитых московских жокеев. Те, кто часто посещал бега в то время, наверняка помнят его под прозвищем Мальчик-с-пальчик.

После революции крестный лишился своего конного завода и помогать матери деньгами уже не мог. По рекомендации Буденного, ценившего его знание лошадей, крестного взяли заведовать конюшней московского ипподрома, и он посоветовал матери Наташи устроиться к ним в контору машинисткой. Она послушалась, но пальцы у нее оказались такие нежные, что при печатании из-под ногтей сочилась кровь, в конце концов ей пришлось отказаться от места и уйти. Жили они тогда очень тяжело, почти впроголодь. Когда нэп утвердился, всё наладилось, мать быстро выучилась на маникюршу и массажистку и зарабатывала в ту пору очень хорошо, у нее был свой салон, своя клиентура, пара гнедых лошадей, которую подобрал её крестный, удобная квартира на Арбате в доме со швейцаром.

Потом она вновь вышла замуж за крупного инженера-артиллериста, перестала работать, сдала в аренду, а через два года и вовсе продала салон. Дом они поставили на широкую ногу, ходили в рестораны, почти каждый день приглашали гостей. На одной из их вечеринок мать познакомилась и влюбилась в приятеля мужа, тоже инженера, и ушла к нему. Мать любила рассказывать, что жена этого приятеля никак не могла простить ей, что она увела у нее мужа, безумно ревновала и хотела облить серной кислотой. Они тогда сидели в кварти-

ре, как в осаде. Горничная знала, что она должна открывать дверь только на цепочку и обязательно спрашивать — кто и зачем. До матери эта женщина добаться так и не сумела, а своего бывшего мужа искалечила. Она подстерегла его, когда он шел на работу, достала из сумочки пистолет и выстрелила. Пуля прошла всего в двух сантиметрах от сердца. Умер он или нет, мать точно не знала: в тот же день она уехала на юг, в Крым, и больше никогда с ним не виделась. Кажется, он все-таки выжил и даже вернулся в свою старую семью, к жене, которая, ранив его, потом много месяцев самоотверженно выхаживала.

В то время, когда мать спасалась в Крыму, ее второй муж повсатался к Наташе. Еще когда они жили с матерью, он иногда залавливал ее в коридоре и целовал, потом из-за разводных дел они несколько месяцев не виделись, а тут, дня через три после отъезда матери, он позвонил, сказал, что очень скучает без Наташи, что знает всё про их дела и ждет в гости к своей сестре. Наташа думала, что у него будет вечеринка, и поехала. Вошла — а там никого, только накрыт стол на двоих, стоят приборы и в ведерке со льдом две бутылки шампанского. Наталья потом рассказывала матери, что, когда он ее посадил на колени, у нее и в мыслях ничего не было — всё равно как отец, а он поцеловал ее в губы и говорит: «Наташа, я тебя давно люблю. Когда мама вернется, я с ней поговорю, она против не будет». Наташа тогда сказала ему, что через месяц выходит замуж, и он отпустил ее.

За год до этой истории она познакомилась с греческим послом, который ухаживал за ее подругой. На один из приемов та взяла с собой Наташу, посол увидел ее, влюбился и бросил подругу. Почти каждый день они катались по Измайловскому парку или за городом на его шикарной американской машине, кажется, это был «кадиллак», потом возвращались в посольство, и там, в его кабинете, на столе их уже ждали две хрустальные чаши с черным и зеленым виноградом, а рядом третья — с водой, окунать ягоды. Посол очень интересовался патриархом Никоном, и один раз они ездили совсем далеко, в Новоиеруса-

лимскую лавру. Купались в Иордане, как раньше называлась Истра, объездили все окрестные деревни: и Назарет, и Вифлеем, и Тивериаду. До шестнадцати лет он жил в Палестине, где его отец возглавлял греческую православную консисторию, и теперь всю обратную дорогу рассказывал ей о земной жизни Спасителя, о Палестине, о Иерусалиме, о том, как выглядят по-настоящему Назарет и Вифлеем. В тот же день вечером он, зная, что Наташе скоро исполнится семнадцать лет, подарил ей на день рождения прелестные лайковые туфельки с тонкой золотой отделкой, самые красивые из всех, какие у нее когда-либо были.

Недели через две после той поездки, когда Наташа, как всегда поздно, вернулась домой со свидания, мать сказала ей: «Днем приезжал офицер из ГПУ, спрашивал тебя, куда ты ушла и вообще чем занимаешься. Я ответила, что ничего не знаю, что ты будешь нескоро, если вообще придешь домой ночевать». Наташа испугалась не знаю как, мать тоже была очень напугана, умоляла ее расстаться с греком, уехать хотя бы на время из Москвы, пока дело не уляжется и про нее не забудут.

Уехать Наташа не решилась и стала прятаться. Мать скрывала ее в своем салоне, в маленькой темной комнатушке, где когда-то спал швейцар. Через неделю офицер приходил снова, опять не застал ее и оставил бумагу, в которой значилось, что Наташа должна явиться к нему на Лубянку завтра в одиннадцать часов утра. Как только он ушел, мать сразу же побежала к ней, рассказала, и они вдвоем, сидя в Наташином убежище, проревели всю ночь. Утром мать сказала ей: «Что ж делать, Наташа, иди, а то всё равно хуже будет», — собрала ей смену белья в узелок, и Наташа пошла.

Следователь, что ее вызвал, встретил Наташу очень любезно, сказал: «Вам нечего бояться, мы ничего от вас не хотим. Просто этот ваш посол подозревается в шпионаже, и нам надо знать, где и когда вы встречались, куда ездили и всё такое».

Наталья ответила, что ничего между ними особенного не было: катались несколько раз на машине и туфельки он ей пода-

рил на день рождения, они, кстати, оказались малы, и она их вернула (это было неправдой). Ее поблагодарили за помощь, а через два дня позвонили снова и предложили работать у них секретаршей. Наташа тогда как раз искала работу и согласилась. Печатать она научилась у матери еще несколько лет назад, и ей нравилось это дело. Грека через месяц выслали, он действительно оказался шпионом.

В ОГПУ Наташа проработала полтора года, пока не вышла замуж. Она оказалась очень хорошей машинисткой — и грамотной, и старательной, все любили ее и ласково звали «Золотые ручки». В ОГПУ за ней многие ухаживали. Была она молоденькой, хорошенькой, с чудным цветом лица — всегда румянец во всю щеку, не выпалась ли, плакала ли — ничего не смывало.

Ей чекисты тоже нравились. Наташа рассказывала матери, что многие были прямо красавцы: высокие, стройные — как белогвардейские офицеры. Но вышла замуж она не за молодого чекиста, а за человека, который был ее старше на двадцать лет.

Однажды ее вызвал к себе в кабинет заместитель Дзержинского, начальник следственного отдела ОГПУ Николай Иванович Старолинский. Сначала она очень удивилась, а в кабинете уже всё поняла. Через три месяца они поженились, и она с ним была очень счастлива, хотя брак их был совсем недолгим — меньше двух лет. В самом начале двадцать четвертого года он умер от крупозного воспаления легких.

Жили они дружно и весело, почти каждый день в доме были гости. На их четверги часто заходили Брюсов, Маяковский, Бабель, Брики, иногда они приводили с собой кого-нибудь из молодых, и тогда перед ужином устраивались импровизированные читки, обычно стихи, реже проза. Слушали очень благожелательно, старались поддержать, и кое-кому из молодых Старолинский потом помогал и с печатанием, и с жильем. Он очень гордился тем, что его дом известен в Москве как литературный салон.

Было время, когда и сам Николай Иванович примыкал к символистам, дружил и подражал Андрею Белому, был участником

многих встреч в знаменитой башне Вячеслава Иванова. В девятом году, незадолго до того, как перешел на нелегальное положение, он закончил первую часть большого романа, которая так и не была опубликована; ее читали все завсегда и дома, и, хотя самому Николаю Ивановичу она теперь казалась наивной, Брюсов считал, что ее надо опубликовать, и что если бы она вышла тогда, когда была написана — пятнадцать лет назад, — наши сегодняшние представления о прозе символистов во многом бы изменились. Он искренне жалел, что Николай Иванович ушел из литературы и больше не пишет.

Одна Наташа знала, что Николай Иванович продолжает писать. Делал он это только на работе, в своем кабинете, и тогда возвращался глубокой ночью. Домой он никогда не приносил ни одной страницы, хотя Наташа много раз предлагала ему перепечатать текст, она сама часто скучала без лубянковской суеты и коловращения, без того, что все спешат и всем срочно, без своей машинки, но он всегда отказывался, целовал ей руки, говорил, чтобы о машинке она забыла и лучше он споет ей арию Риголетто (у него был хороший баритон). Уже потом, после смерти Николая Ивановича, к ней несколько раз заходили его сослуживцы, забрали все бумаги, много раз под разными предлогами спрашивали ее об этой рукописи, и Наташа была благодарна мужу, что ни разу не видела ее и легко может сказать, что даже не знает, о чем речь.

Тем не менее Николай Иванович дважды говорил с ней об этой работе, оба раза немного выпив (вообще же он почти не пил) и раззадоренный чужим чтением. Ему тоже хотелось почитать свое, и было видно, как тяжело год за годом писать в стол, в сейф, никому ничего не говоря, не читая, не показывая. Каждый раз всё было коротко, сумбурно, и она запомнила немного. Первый разговор был почти сразу после их женитьбы. Гости разошлись, она убралась, легла, уже засыпала, когда он вошел в ее комнату, поцеловал и сел рядом. Она видела, что он хочет о чем-то с ней поговорить и не знает, с чего начать. Она поняла, что должна помочь ему, и неизвестно почему спросила про

революцию. Он задержался, но ответил. Наташа из-за этой «революции» потом всю жизнь считала себя дурой — она была уверена, что он приходил тогда совершенно с другим, но говорить не решался, и был рад и благодарен ей, когда она указала ему выход.

«Может быть, ты права, Ната, — сказал он, — начать надо с революции. Как получилась эта революция, кем она сделана — никому не известно. Реально ее никто не ждал и почти никто не хотел. Правда, было много людей, которые по многу раз ее предсказывали, долгие годы пророчествовали о ней, может быть, они испугались, что останутся лжепророками и, как Иона у стен Ниневии, воззвали к Господу: почему он не разрушил еще града сего? После революции осталось совсем мало таких, кто был за нее или против. Все остальные — серая масса, ничего не понимающая и ничего не хотящая, болото, которое засасывало и топил революцию. Из тех, кто звал ее, большинство тоже отошло, их пророчество оправдалось, и они, как и это болото, ничего больше не хотели. Даже мечтавшие о революции мало что в ней понимали и тыкались в разные стороны. Правда, мы всегда знали, кто сегодня наш враг, а кто друг, кто с нами, кто против нас, и от этого шли. Мы надеялись, что гражданская война раскачает болото и определит всех, но таких оказалось немного, да и то я боюсь, что пройдет еще два-три года, и всё опять уляжется».

Потом он начал рассказывать ей, как ездил курьером между Стокгольмом и Петербургом, как один раз его сцапали, судили, но с этапа он бежал — было это в январе семнадцатого года, — снова вернулся вспять и заговорил о своем первом романе:

«Понимаешь, Ната, литература — это такая вещь... у писателя нет материнского инстинкта, он рождает человеков, растит их, потом судит и сам приводит приговор в исполнение. Те, кого из рожденных им он любит больше других, почти всегда гибнут. Сейчас мы хотим использовать это качество литературы. Литература должна помочь нам. Она будет писать только тех, кто точно и твердо знает, что надо, те, кто против, останутся как фон, а всё болото, все остальные должны исчезнуть. Они долж-

ны исчезнуть навсегда, навечно, исчезнуть так, чтобы о них ничего не знали ни дети их, ни внуки, даже то, что они вообще были. Они должны сгинуть, как сгнули и растворились бесписьменные печенег и половцы».

Второй раз он заговорил с ней об этом больше чем через год, тоже в их обычный четверг, когда Брюсов, особенно много льстивший ему весь вечер, ушел — и они остались в столовой одни. Николай Иванович сказал ей:

«Их жалко, они бесконечно завидуют Менжинскому, мне, Брику, что мы вовремя ушли от фантомов, мистики, идей, от всего: и от символизма, и от футуризма — в реальный мир. Они преклоняются перед нашим миром, потому что у нас всё подлинно: и страх, и предательство, и страдание, и самое главное — смерть. Они знают, что мы вот этими руками пишем романы из живых людей, романы, в которых всё настоящее, а им никогда даже не приблизиться к этому. Агранов не понимает их. Он до сих пор уверен, что они льнут к нам потому, что мы власть и нас боятся, потому что надеются, что, если попадут к нам, мы их по старой памяти не расстреляем. Или они нас хорошо изучат, а потом переиграют и обманут — опять же вывернутся. Он вчера ко мне снова зашел и говорит: “Ты их хоть раз не домой, а сюда, в кабинет, пригласи, и тебе и Наташе хлопот меньше, и если потом соблаговолишь их отпустить, они не за чай благодарить, а всю жизнь на тебя молиться будут”. Зря он так, конечно.

Знаешь, Ната, я уже лет пять как по-новому стал понимать нашу работу. Мне и самому еще далеко не всё ясно, а другим рассказывать тем более рано. Недели две назад вызвал я своих ближайших сотрудников, начал, а через минуту вижу — говорю плохо, нечетко, мну слова, я и оборвал, на текучку свел. Написано уже много, а конца не видно. Даже названия толком нет. Наверное, будет что-то близкое к “Поэтике допроса”. Год назад я тебе говорил, что в эту революцию должна сделать литература, кто в ней погибнет страшнее всего, навсегда. Так вот: мы, чекисты, спасаем их. Все те, кто пройдет через наши руки, спасутся. Мы воскресим даже многих из уже погибших.

Год назад я добился новых папок для дел. На них надпись: «Хранить вечно». Подозреваемые боятся их как огня. Они уверены, что из-за этой надписи мы, как в аду, будем расстреливать их изо дня в день до скончания века. Какая чушь! Так они обречены, а эта надпись сохранит их, не даст сгинуть.

Вот ко мне ввели подозреваемого. Я пишу номер дела, его фамилию, открываю папку и начинаю допрос. У меня уже есть версия. Но если я вижу, что она не подходит к обвиняемому, я легко отказываюсь от нее. Я говорю с ним каждый день и с каждым днем всё лучше понимаю его, всё легче подбираю ему связи, контакты, сообщников, наконец, то, что он совершил. Он никому не верит, ничего не понимает, всего боится. Он пытается объяснить мне, что ничего не смыслит ни в революции, ни в контрреволюции, что всегда хотел только спастись, спрятаться, переждать, что больше ничего не делал, что это не преступление. Я слушаю его голос, самый темп речи, смотрю на его глаза, руки, он становится мне всё яснее, всё ближе, и я уже легко нахожу самое трудное — детали. Тут важна каждая мелочь: и место, и обстановка, и погода, и время. Разные люди по-разному ведут себя утром и вечером. Детали соединяют картину, делают ее живой. Если они подлинны, она сама начинает говорить с тобой. И вот приходит момент, когда обвиняемый понимает, что я прав, что это он и есть, что я, как отец, породил и создал его, и он сознаётся, что это он. Тогда наступает самое главное, то, для чего шла вся работа. Этот обычный человек начинает с блеском и талантом рассказывать о себе. Страха уже нет. Он говорит и говорит, он захлебывается и не может остановиться. Я пишу и с трудом успеваю за ним. Он рассказывает мне поразительные вещи, вещи, о которых я, создавший его, и не подозревал. Когда я писал свой роман, то знал — лучшие куски не те, что я лучше придумал и потом записал, а те, где, когда я писал, для меня всё было новым, где я уже создал своих героев, они живые, и думают, и живут сами. Здесь то же самое. Пойми, разве нам нужен суд? Есть только я и он».

Через месяц после этого разговора, день в день — она помнила это точно — он заболел и слег с тяжелейшим воспалением легких. Последние дни болезни Николая Ивановича Наташа безотлучно находилась при нем. И от врачей, и сама она уже знала, что ему не встать. За два дня до смерти температура неожиданно спала и он последний раз пришел в сознание. Она села у изголовья, взяла его руку, и он сказал: «Наташа, запомни, когда я умру, я буду тебе помогать. Если тебе что-то понадобится, приходи на мою могилу и проси — я помогу тебе».

После смерти Николая Ивановича Наташа жила очень плохо, много плакала и почти не выходила из дома. Она не могла найти никакой работы, за несколько месяцев распродала и проела всё, что у них было, и осталась совсем без денег, одна, в большой пустой квартире. С квартирой тоже всё было неладно. Еще осенью ей сказали, что она ведомственная, что она нужна другому заместителю Дзержинского и в конце года Наташу выселят. Тогда она решила обратиться к мужу. Собралась, купила на рынке на последние деньги большой букет хризантем, его любимых цветов, и поехала на кладбище.

Было холодно, она дрожала, никак не могла начать. Сделала всё нужное и ненужное, поставила в банку хризантемы, окопала цветы на могиле, полила их, хотя было и так мокро, долго сидела на лавочке. Наконец, когда надо было уже возвращаться, попросила его помочь с работой, испугалась, покраснела и быстро ушла. Дома Наташа долго ругала себя, плакала и не могла заснуть. На следующее утро ее разбудил телефонный звонок из Наркомата путей сообщения: предлагали за хорошую плату вести у них курсы машинописи. В общем, с работой у нее всё налажилось.

Прошел почти год после смерти Николая Ивановича, когда Наташа поняла, что жить одна, без мужчины, она больше не может. Она снова поехала на кладбище, дала сторожу денег, чтобы он заново покрасил ограду, не спеша привела в порядок могилу, села на лавочку и сказала: «Николай Иванович, тяжело мне одной. Ты уж не обижайся, а помоги мне найти кого-нибудь...»

Когда она возвращалась домой, в трамвае с ней заговорил видный, красивый инженер. Это был Федор Иоганнович Крейцвальд. Через месяц после их первой встречи ее выселили из старой квартиры, и она окончательно переехала жить к нему.

В течение следующего года Наташа по очереди была женой всех трех братьев. Меньше всего — месяц — Федора, который привел ее в дом, больше всего — второго брата, Николая. Уйдя к другому, она продолжала, как и раньше, заботиться о своем прежнем муже, обстирывала, кормила его. Безусловное право на это — единственное условие, которое она ставила новому. Того, кого она бросила, она ревновала едва ли не больше, чем того, с кем жила. Малейшие подозрения на роман (всегда совершенно беспочвенные) вызывали у нее безумную ярость, которая кончалась апатией и депрессией. Много раз она спрашивала себя, почему ревнует, почему уходит от одного к другому, и ничего не могла сказать. Попытки сближения между братьями тоже вызывали у нее раздражение. Ей казалось, что это свидетельство недостаточной любви к ней самой.

К началу двадцать шестого года Наташа снова замужем за Федором, а Николая и Сергея уже нет. Сейчас, когда с тех пор, как их не стало, минуло почти пятьдесят лет, я пытаюсь понять, что же тогда произошло в их доме. В свое время Ирина, мать Федора, Николая и Сергея, не сумела родить мужу трех сыновей. Она воспользовалась любовью к ней старшего сына и из прихоти растроила его. Наташа поселяется в их квартире и переходит от одного брата к другому. Она переходит из комнаты в комнату, ничего не забирая с собой, и почти ничего не меняется в ее жизни. Всех братьев она любит и продолжает любить того, от кого ушла. Разводы ее заключаются только в переезде из комнаты в комнату. На тот вопрос, почему она уходила к другому, мы теперь знаем ответ. Она любит их всех, и все они влюблены в нее. Ни до, ни после нее ни у кого из них не было в жизни любимой женщины. Значит, несмотря на всё их несходство, они и она были задуманы друг для друга. Любовь к ней вытесняет в них любовь к матери. Она становится главным, подминает под себя

все их особенности, все их различия, и они с каждым днем начинают всё больше сближаться, всё больше походить друг на друга. Когда-то любовь к матери разделила их, теперь любовь к ней сводит их и соединяет. Любя их всех, она начинает восстанавливать Федора. Она лепит его, отбрасывая в нем и в его братьях всё, что не созвучно ей, не создано для нее и, значит, случайно. Соединяя их, она готовит Николая и Сергея к смерти, к возвращению и растворению в Федоре. Жизнь, начавшаяся в их матери, кончается в ней и через нее.

Потом, когда ее работа была закончена и она вернулась к старшему брату, Федору, в два года, пока она еще хорошо помнила младших — Николая и Сергея, она рождает ему двух сыновей — тоже Николая и Сергея. Это они и есть. Это те сыновья, которых не сумела родить Ирина. На Федора они не похожи. Только через восемь лет, в 1936 году, за год до их ареста, она родит Федору третьего сына, тоже, как и он, Федора, но он так и не узнает, что этот сын повторит его.

Лето тридцать седьмого года было очень жарким. В начале июля Наташа отправила годовалого Федора-маленького (так его звали в семье) с нянькой на дачу в Кусково, к своему двоюродному брату, и впервые за несколько лет она и Федор остались в квартире одни. У брата не было детей, и его жена Марина много раз предлагала, чтобы Федор-маленький жил летом у них. Наташа знала, что ребенку там будет хорошо: дача большая и, главное, теплая, вокруг прекрасный лес, деревенское молоко, на субботу и воскресенье, чтобы повидать ребенка и дать Марине и няньке отдохнуть, она будет сама приезжать в Кусково. Старшие дети, Николай и Сергей, тоже устроены, они сами захотели остаться на второй срок в пионерском лагере; кажется, лагерь неплохой и они не очень скучают. Вдвоем с Федором ей хорошо. Ната знает, что, родив трех сыновей, она сделала то, что должна была сделать, знает то, чего не знает Федор-старший: Федор-маленький будет как две капли воды похож на отца.

В пятницу, 17 июля, рано утром Федор и она были арестованы. Своих детей они больше никогда не видели. Наташа умерла

в зиму сорок первого в женском лагере в Мордовии, уже кончая свой пятилетний срок. Федор выжил. Он отсидел больше восемнадцати лет и освобожден в начале пятьдесят шестого года. Сразу после освобождения он поехал в Москву. Здесь он узнал, что его жена умерла, что старший сын Николай пропал без вести в сорок третьем году в боях под Харьковом, второй сын, Сергей, тоже пропал без вести, когда поезд, который вез на восток весь их смоленский спецдетдом, попал под бомбежку в Волоколамске. Федор-маленький был жив, но Федор-старший не помнил сына и знал, что и тот не может помнить его. Федору-маленькому было уже девятнадцать лет. Брат Наташи, который воспитывал его, не знал, что Федор-старший выживет, и еще много лет назад усыновил Федора-маленького. Тот считал его своим настоящим отцом, и Федор понял, что всё так и должно оставаться.

На «семерке» — трамвае, в котором он когда-то познакомился с Натой, — Федор доехал до Немецкого кладбища. Был будний день, и на кладбище было пусто. Со сторожем он с трудом разыскал могилу матери и отца, много лет сюда никто не приходил, и вся она заросла высокой, почти в рост, крапивой. Он дал сторожу деньги, чтобы привести могилу в порядок, заново покрасить ограду и приписать на доске, под именами родителей, имя, фамилию и годы жизни жены. Сначала он хотел приписать имена старших сыновей, Николая и Сергея, но потом раздумал: все-таки не погибли, а пропали без вести. В тот же день вечером он уехал обратно на север.

Через Владивосток, Магадан и Пенжинскую губу он вернулся назад, в поселок Каменское, в тридцати километрах от которого находился молибденовый рудник, и там, при руднике, его последний лагерь. Сначала он думал устроиться на рудник инженером, жил там, но, хотя инженеров не хватало, дело с его оформлением затянулось, в конце концов он плюнул на всё и вернулся в Каменское.

Недалеко от Каменского, прямо на берегу губы, среди невысоких сопот стояли два десятка чумов и короткая улица новых

бревенчатых изб. Это была центральная усадьба большого корякского оленеводческого колхоза «Заветы Ильича», сюда он и устроился на работу. Взяли его главным бухгалтером. Председателем этого колхоза была еще не старая бойкая корячка Тэна, через год женившаяся на себе.

Колхоз Тэны гремел на всю страну и соревновался с другим, не менее известным, — полтавским колхозом имени Григория Котовского. Уже давно, с первых послевоенных лет, Тэна была депутатом, последние годы по месяцу и больше жила в Москве и для корячки хорошо знала Россию. Раньше с «Григорием Котовским» они соревновались заочно, но в год приезда Федора Тэна после депутатской сессии в Москве отправилась подводить итоги соревнования в Полтаву. Принимали ее там очень торжественно, возили по всей области, всё показали, и в последний день выступивший на митинге председатель «Котовского» сказал: «Мы мечтаем о том, чтобы корякские мальчики и девочки, дети потомственных оленеводов, попили бы настоящего парного украинского молока, и по решению общего собрания колхоза мы дарим “Заветам Ильича” двух наших лучших дойных коров».

После Полтавы Тэна была еще раз в Москве, потом в Архангельске и только в ноябре вернулась домой. Через восемь месяцев после Тэны, в начале следующей навигации, пароход «Маршал Конев» выгрузил в устье Пенжины две большие деревянные клетки с коровами.

От этих коров у всех были только неприятности. Одна корова так и не смогла привыкнуть к местному климату и к ягелю, которым ее кормили, и почти сразу околела. Другая, со сломанным рогом и обмороженными еще в дороге сосцами, выжила. О коровах, Машке и Красавке, еще когда Тэна была в Москве, много писали в центральных газетах, они стали символом интернациональной дружбы, и Тэна очень боялась, что и вторая — Красавка — подохнет. Тэна почему-то была твердо уверена, что погибла именно Машка.

Берегли Красавку как могли, из области всё время интересовались этими коровами и даже спустили «Заветам Ильича»

план по коровьему молоку. Тут ничего сложного не было. Сдавали его, по совету Крейцвальда, разбавляя жирное оленье молоко водой. Красавку кормили хлебом, сделали ей хлев из старого чума, и она прожила в нем — кажется, вполне довольная, — до начала сильных морозов. Потом Красавка исчезла. Искали ее целый день, но так и не нашли, думали: задрали волки. Только через неделю, когда корову уже собирались списать, один старый коряк, услышав мычание, обнаружил ее в самом странном месте — в утробе кита, лежавшего на берегу Пенжины. Этого кита полмесяца назад загарпунили коряки, вытащили на снег, частично разделали, а остальное бросили здесь же, у самого припая, и, кому было надо, отрезал от его туши куски мяса для своих собак. Из кита ее пытались выманить хлебом, но она долго грустно мычала и не шла. Думали пробиться к ней, прорубив ход в боку кита, но он за две недели так промерз, что его с трудом брал даже лом; работа шла туго, и, когда стемнело, Тэна решила, что в ките Красавке, наверное, теплее, чем в чуме, и пускай она живет где хочет.

Кормилась корова китовым мясом, своим телом она отогрела его и ела. Раз в три-четыре дня она безумела от такой пищи, выбиралась из кита и носилась по поселку, раскидывая всех единственным рогом. Не только люди, но и собаки боялись ее. С наступлением темноты корова начинала нападать на корякские чумы. Не знаю, что привлекало ее — тепло, свет, люди или она просто искала свой старый хлев. Корова играючи пропарывала чумы насквозь, топча и бодая всё, что ей попало на дороге, несколько человек она легко ранила, но пристрелить ее не решались — коряки были уверены, что это шайтан и пуля его не возьмет. На следующее утро после погрома они приходили к Тэне, долго печально перечисляли ей свои потери, просили взамен денег, керосина и каких-то еще товаров со склада. Из недавней речи лектора они знали, что, если пострадают от стихийного бедствия, государство должно им помочь. Они говорили Тэне, что, если русские прислали им своего самого страшного зверя, чтобы запугать и заставить

сдавать еще больше оленьего мяса, они согласны, пускай только Красавку возьмут обратно. Тэна ничего им не давала и отсылала объясняться к Крейцвальду как к старшему бухгалтеру и знатоку русской жизни. Федору они повторяли то же, что раньше Тэне, но и он ничего им не давал, говоря, что корова в России есть почти в каждом доме, что она кормилица, что ее все любят и не боится никто, даже малый ребенок.

В конце октября Тэну пригласили на какой-то праздничный слет в Магадан — и она уехала, оставив вместо себя Федора. 7 ноября, в сороковую годовщину революции, как только рассветло, коряков, по обыкновению, собрали у сельсовета, и там открылся митинг. Сам сельсовет был почти по трубу занесен снегом — чистили только крыльцо и небольшую площадку вокруг него. Вел торжество приехавший накануне инструктор райкома партии. Едва он успел начать свою речь, появилась Красавка, коряки шарахнулись от нее в сторону, но она, не обратив на них внимания, зашла за угол сельсовета и по твердому, как лед, насту стала взбираться на крышу. Сначала ее не было видно, потом однорогая голова появилась прямо над инструктором, рядом с укрепленным над крыльцом флагом. Она потянулась к нему губами, достала и, очевидно, принимая за мясо, стала есть. На нее замахали руками, закричали, — она не слышала. Доев флаг, Красавка долго смотрела на коряков, потом повернулась, чтобы идти обратно, и в этот момент кто-то кинул в нее кусок льда. Корова вздрогнула, дернулась, копыта ее заскользили по крыше, и она тяжело, задом, свалилась вниз. Падая, копытами она задела инструктора. Он отделался несколькими царапинами на щеке, а она, очевидно, сломав себе позвоночник, почти сразу же околела.

Эту историю расценили как политическую провокацию. Через два дня, еще до приезда Тэны, наряд милиции из Каменского забрал Крейцвальда и увез его туда для допроса. Все были уверены, что его снова посадят, однако делу хода не дали. То ли из-за Тэны, то ли времена были уже не те. Через месяц его выпустили, но назад в «Заветы Ильича» он уже не вернулся, развелся

с Тэной и жил в Каменском, до дня своей смерти 12 мая 1961 года работая механиком в городской котельной.

Ты пройдешь, не оставив следа,
Где, как окна заброшенной хаты,
По бочагам чернеет вода
В тонком слое земли ноздреватой,
И по кочкам, где клюквенный сад
Дозревает до темного цвета,
За тобою уходят назад
Дни последние бабьего лета.

В октябре 1938 года, через восемь месяцев после ареста родителей, Николай и Сергей Крейцвальды были взяты из их московской квартиры. Брали их тоже, как и родителей, на рассвете, но народу было меньше — районный опер да два милиционера — и без обыска. Николай и Сергей еще спали, и те долго колотили в дверь, хотели уже ломать.

Эти восемь месяцев с ними прожила какая-то троюродная тетка их матери, но, когда деньги были истрачены и есть стало нечего, недели за две до ареста она уехала в Ростов к другой своей родственнице. Достать деньги было можно, в доме было что продать, и тетка, кажется, хотела остаться с ними и дальше, но Николай и Сергей не разрешили ей трогать ни одной вещи, не дали даже колец, которые мать никогда не носила и которые тетка хотела заложить в ломбард, тридцать раз объясняя им, что ничего не пропадет, что их всегда можно будет выкупить. К этому времени они уже давно не хотели с ней жить и делали всё, чтобы она уехала.

На вокзале, сажая ее в ростовский поезд, они не сомневались, что больше никогда с ней не встретятся, но лет через десять, уже после войны, старший из братьев, Николай, сам нашел ее, прожил в ее доме почти месяц, тетка тогда спасла ему дочь, и накануне отъезда они долго говорили, плакали и простились друг друга.

Было это осенью то ли сорок седьмого, то ли сорок восьмого года, когда он во время своих многомесячных, сползающих к югу кочевков оказался в Ростове. Он ездил тогда уже не один, а с женой Катей и годовалым ребенком. Деньги кончились, ехать дальше было не на что, и они застряли в Ростове. Несколько раз Николай пытался сесть в товарный состав, но их ловили, снимали и в последний раз, когда милиционеры его уже запомнили, сильно избили. Девочка неделю назад, еще в Воронеже, простудилась, и, как Катя ни берегла ее, здесь, на вокзале, из-за бесконечных сквозняков у нее начался сильный кашель. Соседка по лавке долго слушала, как она хрипит, а потом стала кричать на Катю, что она врач, что у ребенка воспаление легких, что им нечего делать на вокзале, а надо немедленно идти в дом, в тепло, класть девочку в постель и лечить, иначе она погибнет. Катя плакала. Николай сидел от нее скамейки через три, пил водку — его угощали только что демобилизованные солдаты — и ждал, когда соседка кончит, потом подошел к Кате и сказал, что идет в город, попробует узнать что-нибудь насчет больницы, может быть, получится. Что с больницей ничего не выйдет, знали и Катя, и он. В Ростове он был уже в двух, и в каждой его, как в милиции, допрашивали: кто, откуда, где работает и почему не сидит дома, а мотается по стране, как перекасти-поле. В войну город был сильно разрушен, и мест в больнице не было даже для своих, а тут он вдобавок выпил.

Когда Николай еще сидел с солдатами, объявили, что на первый путь прибывает из Москвы тбилисский поезд. Это был тот поезд, который был нужен Николаю, и Кате, и девочке, тот поезд, который вез в тепло, и до тепла и моря было совсем близко, всего сутки езды. Сейчас Николай вспомнил об этом поезде, вспомнил, что он еще не ушел — тбилисские поезда стояли в Ростове не меньше сорока минут, здесь их заправляли и углем, и водой, а после объявления не прошло и двадцати. Всё это, и про больницу, и про поезд, он легко сосчитал, сосчитал даже то, что сегодня пятый день, как он провожает тбилисские поезда, и что один из солдат, с которым он пил, тоже уезжает этим

поездом — значит, надо проводить и его, и что это хорошо, удачно, что зараз он проводит обоих.

Через тяжелые вокзальные двери он вышел на перрон, народу было немного: все, кто ехал до Ростова, уже ушли, а те, кто сажился в поезд, сгрудились около проводников, но и их было мало — не сезон. Солдата нигде не было видно. Чтобы не пропустить его, Николай вернулся к хвостовому вагону и оттуда пошел вперед. У паровоза он понял, что солдата ему не найти, и что, в сущности, это не важно — знает солдат, что Николай провожает его, или нет. Минуты три он стоял около паровоза, а потом подумал, что, раз у него есть время, хорошо было бы разведать поезду дорогу, чтобы потом, когда он поедет, всё было в порядке. Он спрыгнул с платформы и пошел вдоль пути. Минут через пятнадцать, когда здание вокзала уже скрылось за поворотом, он услышал гудок отходящего поезда и прибавил шаг. Потом состав стал нагонять его, и он побежал.

Сначала паровоз легко обошел его, но тут начались бесконечные стрелки, и ему пришлось сбавить ход. Несколько минут Николай держался на уровне третьего вагона, даже сумел обойти его, стал доставать паровоз, но тут поезд снова набрал скорость, еще минуту Николай шел вровень, а потом цифры вагонов стали всё быстрее расти мимо него. Бежать уже не было сил, задыхаясь, он повалился на землю и, как ребенок, заплакал. Он плакал, потому что не сумел догнать поезд и тот опять ушел без него, потому что забыл о Кате и девочке, забыл, что он шел только проводить поезд и солдата, что он разведал им путь и теперь у них всё будет хорошо. Из последнего вагона кто-то махал ему и кричал, но из-за стука колес разобрать ничего было нельзя.

К вечеру он отошел, успокоился, но так и остался лежать около путей. Он слушал, как еще задолго до поезда всё вокруг начинает дрожать, но догадаться, куда он едет — в Ростов или из Ростова, — трудно. Каждый раз земля звенела почти до самого поезда, а потом звук обрывался, и сразу рядом с Николаем возникал весь состав и грохотал не мимо, а прямо над ним и, когда кончался, тоже уходил не в сторону, а вверх. Так же вверх уходил

ли и все поезда, которые он провожал в детстве, и, как опытный стрелочник, он теперь использовал каждое окно и один за другим включал их в общее движение.

Таких поездов, кроме пригородных, в его жизни было четыре. Три увозили мать и отца на юг — в Крым и в Кисловодск — и один — в Ленинград. Был еще один, но уже без матери и отца, и он никак не мог его вспомнить. Отца и матери не было ни в поезде, ни рядом с ним, на перроне. Всякий раз он думал, что так не могло быть, думал, уже зная, что вспомнит, что уже совсем горячо, уже видя человека, кричащего и машущего ему из последнего вагона. Он не сразу понял, что теперь различает лицо и слышит слова, что это лицо его тетки и она кричит: «Коля! Тухачевского, двенадцать... Так же, как тебе лет... Ростов, Тухачевского, двенадцать...»

Николай встал и сначала опять шел вдоль полотна, вслед за голосом и лицом, но потом повернул, перепрыгнул через кювет, потом — через низкий станционный заборчик и сразу оказался в городе. Где улица Тухачевского, никто не знал. Наконец, какая-то старушка объяснила ему, что сейчас такой улицы нет и не может быть, но когда-то до войны действительно была, и что она есть и сейчас, но называется по-другому — Одесская, и до нее совсем недалеко: дойдет минут за пятнадцать.

Тетка жила на втором этаже небольшого деревянного дома, у нее была своя комната, которую ей оставила сестра, умершая во время войны. Она встретила Николая как родного, вместе с ним поехала на вокзал и перевезла всех к себе. Девочка задыхалась, горела и была очень плоха. Тетка помогала Кате всем, чем могла: дежурила по ночам, стирала пеленки, бегала за лекарствами. Николай на третий день устроился сторожем на речной склад, сразу на две ставки, домой почти не приходил, и они всё делали вдвоем. Болезнь шла очень тяжело, но в конце третьей недели наступил кризис — и девочка начала поправляться. Тетка была в восторге от ребенка, не спускала ее с рук и объясняла Кате, что она вылитая Наташа, мать Николая, и они молодцы, что тоже называли ее Наташей.

Она рассказывала Кате и про свою жизнь, и про Натину, про то, что до революции у ее отца здесь, в Ростове, был большой особняк на Дворянской, был у нее и жених, офицер, но замуж она так и не вышла — в девятнадцатом году он погиб под Орлом. Потом она жила у разных родственников и в Ленинграде, и в Саратове, и в Баку, помогала по хозяйству, воспитывала детей. В тридцать шестом году, когда у Наты родился третий мальчик, она переехала к ней.

Ната считалась в семье самой красивой, познакомились они еще в десятом году, детьми, и тетка рассказывала, что была очень рада, когда Ната пригласила ее жить к себе. Она жаловалась Кате, что, когда Федора и Нату арестовали, она решила, что это ее семья и, что бы ни было, она вырастит ребят и поднимет, и если Ната и Федор, бог даст, вернуться, мальчики будут и одеты, и накормлены, и ухожены, будто они их ей всего на день и оставили. Тетка говорила Кате, что Николай и Сергей сразу же ее невзлюбили и выживали как могли, что, останься она тогда, они бы ни в детдом не попали, ни в колонию, как Николай, а Сергей, любимец Наты, тот вообще сгинул, наверное, и в живых его нет.

Дня через два после этого разговора сменщик Николая вышел на работу и его отпустили на ночь домой. Девочка и тетка давно спали, Катя постелила себе и ему на полу и, когда он лег, спросила, правда ли, что они травили тетку и заставили ее уехать. Николай сказал, что правда. Он помнил, что они с Сергеем ее действительно травили, что заводилой чаще всего был Сергей, а за что травили — после колонии, войны и Кати, — вспомнить не мог. Ему было стыдно и жаль старуху. На следующий день, вечером, когда склад закрылся и причал опустел, он сел у самой воды на старые шины и стал думать, почему они невзлюбили тетку.

Он вспомнил, что, когда увели родителей, они с Сергеем уже знали, что худшего не будет, что всё, что было, кончилось и ничего не вернешь. Он вспомнил, что тетка хотела, чтобы они жили так, будто ничего не случилось, как будто всё в порядке

и родители уехали ненадолго и со дня на день вернутся. Но жить по-старому было нельзя. Нельзя было жить так же, как при них, когда их уже не было.

Через неделю после ареста матери и отца от ребят во дворе, да и сами они уже знали, что их ждет. Знали, что их отправят в спецдетдом, что спецдетдом — это лагерь для детей, лагерь-школа, и, когда они вырастут и окончат его, их, скорее всего, переведут во взрослый лагерь, может быть, в тот же, где сидят отец и мать. Они знали, что это наезженная колея, что они, как уже несколько их знакомых, пойдут за своими родителями, что это правильно, что так и должно быть, потому что родители всегда любят, когда дети идут их путем.

Они понимали, что сейчас им важнее всего быть хотя бы на шаг ближе к родителям, а в спецдетдоме они будут ближе и жить будут почти так же: ведь и ими, и лагерями управляют одни и те же люди. Он не мог вспомнить, сами они поняли или им сказали, что из-за тетки их и не забирают в детдом, что это их дорога и они на нее всё равно выйдут, а тетка только задерживает и мешает им.

Дней через пять, когда Наташа совсем поправилась и окрепла, тетка на свои деньги купила им билеты до Сухуми, а накануне отъезда, вечером, устроила прощальный пир. Было много еды, даже мясо, где-то она достала целую канистру дешевого белого вина, они просидели всю ночь, всё вспомнили и простили друг друга.

Через полторы недели после отъезда тетки в Ростов, когда Николай и Сергей уже два дня ничего не ели и младший, Сергей, с ночи решил, что пойдет на вокзал воровать и накормит Николая, их арестовали. Когда милиционеры пришли за ними, он был им благодарен, потому что теперь ему не надо было идти на вокзал и, значит, воровать он не будет. Из-за этой ночи он потом всю жизнь, и после реабилитации тоже, считал, что был, в отличие от Николая, арестован правильно.

«Воронок» отвез их в районное отделение милиции, там их посадили в камеру и на три дня забыли. Оба они хорошо запом-

нили это время не только потому, что видели тогда друг друга последний раз, но, главное, потому, что сразу поняли, что всё определилось, что от них ничего не зависит и, что бы они ни делали, ничего не изменится. Это было то чувство, что всё идет так, как может и должно идти, что ничего делать не надо, которое и сохранило силы многим людям, просидевшим в лагерях по десять-двадцать лет. Они ели, радовались, что их держат вместе, и почти не говорили о том, когда их вызовут и куда отправят. На четвертый день после ареста, утром в понедельник, милиционер отвел младшего из братьев, Сергея, к начальнику отделения, тот допросил его очень коротко, всё дело не заняло и получаса, с его слов заполнил несколько бумаг: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, родственники, а потом отослал обратно в камеру. Когда повели Николая, он уже знал, что будут спрашивать, и в коридоре сообразил, что может прибавить себе пару лет, что проверять, наверное, никто не будет, ему и так чуть ли не все дают тринадцать, что пройдет — хорошо, в детдоме на два года меньше, а проверят — скажет, что оговорился, и дело с концом. Всё сошло. Его допросили так же, как Сергея, и вернули в камеру. Вместе они пробыли еще два дня, а потом Сергея днем, а его вечером на «воронке» отвезли на вокзал и отправили в детдома. Больше они никогда не встречались, хотя в августе сорок первого их поезда оказались рядом на станционных путях Волоколамска. Немцы тогда бомбили вокзал, вокруг всё горело, и движение на два дня встало.

В своем детдоме под Смоленском Николай прожил меньше года. В декабре тридцать девятого, в новогоднюю ночь, он вместе с тремя товарищами устроил побег. В тридцатиградусный мороз они прошли пять километров до железной дороги и еще пятнадцать по шпалам до узловой станции, где останавливались поезда, идущие на юг. Они знали расписание, знали, что должны успеть на ночной поезд, потому что следующий будет только днем и на него не сядешь. Последние три километра, уже ничего не чувствуя от холода, только помня, что опоздать нельзя, они бежали до странности ровными — из-за шпал — прыж-

ками и, кажется, успели. На станции, боясь, что их заметят, они не стали заходить в здание вокзала и спрятались по двое за перронными лавками. Поезд всё не приходил, и они заснули.

В детдоме под утро их хватились. Следы вывели к железной дороге. Позвонили на все ближайшие станции и утром их нашли и взяли. Железнодорожный капитан, командовавший рядом, сказал им, что они лопухи, что не надо спать, что поезд опоздал на два часа из-за заносов, что он был и давно ушел. На станции двое из них сильно обморозились. За этот побег Николай получил шесть лет и был переведен в колонию для несовершеннолетних под Вязьмой, в которой пробыл до июля сорок первого года.

Первый месяц войны через Волоколамск ежедневно проходило по несколько десятков эшелонов, но с середины июля немцы начали почти каждый день бомбить пути на запад и на восток от города, составы перемешались, станция начала задыхаться и почти встала. Сам Волоколамск немцы пока не трогали, они знали, что здесь много зениток, и не хотели рисковать. Первый настоящий налет на город был 24 июля. Начался он ровно в полдень. Вся станция была забита эшелонами и войсками. Бомбили Волоколамск четыре звена бомбардировщиков, они сменялись каждые двадцать минут и улетели только через два часа. Вокзал горел больше суток, и всё это время продолжали взрываться цистерны с горючим и вагоны с боеприпасами.

Еще за три дня до бомбежки в город пригнали два поезда с заключенными. После долгой ругани с конвоем начальник станции приказал загнать их в тупик и пропустить в последнюю очередь. Когда начался налет, конвой не стал открывать вагонов, солдаты отошли от поездов на несколько десятков метров, окружили их и залегли. Уже от первых бомб несколько вагонов загорелось, во многих из них взрывами сорвало засовы и двери, зеки, пытаясь спастись, стали прыгать на землю, но конвойные, боясь побегов, стреляли их. Когда налет кончился, оставшихся согнали в целые вагоны, и через день паровоз, присланный из Москвы, увез их на восток. С этим поездом Николай доехал до

какой-то станции около Москвы, потом в другом эшелоне до Перми и уже из пермской колонии, как и все, кому исполнилось семнадцать лет, был в декабре сорок второго зачислен в штрафной батальон и отправлен на фронт.

Полтора года ему везло: он провоевал без единой царапины, — но в июне сорок третьего под Орлом наконец искупил свою вину кровью. Пуля, задев верхушку левого легкого, прошла навывлет, а за секунду до или после нее он был тяжело контужен разорвавшимся рядом снарядом. Два дня он пролежал в воронке у самой дороги, санитары его или не заметили, или посчитали мертвым, в списках части он тоже значился среди погибших. На третий день девочка из соседней деревни услышала, как он стонет, и с матерью перенесла его в дом. Они выхаживали его несколько месяцев, а потом передали в тыловой госпиталь, стоявший в Орле.

После Орла лечили его еще в двух госпиталях. Пулевое ранение долго не затягивалось, рана гноилась, особенно сзади, на спине, где образовался свищ. Понадобились три операции (во время одной из них ему отрезали часть легкого), прежде чем дело пошло на поправку. Свищ закрылся, он уже начал вставать и надеялся, что его вот-вот выпишут, когда госпитальный невропатолог во время вечернего обхода обратил внимание на то, как сильно дрожат у него руки. Николай и сам давно заметил, что во время ужина расплескивает по половине стакана чая, но думал, что это всё от наркоза, потери крови и слабости. Утром, сразу после сна, дрожь была почти не заметной, он мог даже показывать шулерские приемы, которым обучился в колонии, а к вечеру руки расходились вовсю. Невропатолог задержал его выписку на месяц, никакого улучшения не было, он вызвал к себе Николая, сделал это специально вечером, перед самым отбоем, и сказал, что здесь они ему помочь ничем не могут, что это последствия контузии, которые лечатся долго и трудно, что, если он настаивает, они его, конечно, выпишут, но тогда он так и останется инвалидом. Молодой красивый мужик, а не то что работать — бабу обнять не может, молотит по ней, как по роялю. Но если он не

спешит, а в его положении только дурак спешить будет, то они направят его в специальный неврологический госпиталь в Саратов, где такие вещи лечат. Он согласился и поехал в Саратов, и там безо всякого улучшения провалялся еще год. Врачи говорили, что у него в голове поврежден какой-то центр и сделать, похоже, ничего нельзя; может быть, наладится само.

От этого лежания был только один плюс: Николай научился кое-как управлять своими руками. Он заметил, что, если сцепляет пальцы, руки мешают друг другу и дрожат намного меньше, или, во всяком случае, видно это намного меньше. Теперь он даже мог писать, придерживая и направляя правую руку указательным пальцем левой. Писал он строго по букве, с небольшим расстоянием между ними, чтобы одна не залезла на другую; получалось вполне быстро, понятно и, пожалуй, красиво. В госпитале ему уже оформили вторую группу инвалидности и готовили другие бумаги к выписке, когда за ним приехала Катя. Это была та девушка, которая нашла его и выходила. Теперь ей было семнадцать лет, за день они поженились и через неделю, взяв все госпитальные документы, уехали в ее деревню.

Еще когда он лежал у них в доме и не знал, выживет или умрет, в последнюю неделю перед тем, как за ним приехали из Орла, — тогда он уже бредил редко и только по ночам, а днем был в сознании, — он заметил, что Катя уже большая, а не ребенок, как показалось ему в поле, когда она с матерью тащила его из воронки, что она красива и через год-два будет невестой. Тогда же они несколько раз подолгу друг с другом разговаривали. У нее, как и у Николая, в тридцать седьмом арестовали отца, правда, пока не началась война, от него приходили письма. Лагерь был где-то под Печорой, и, судя по тому, что он писал, жить там было можно. Она говорила ему, что в деревне их травят врагами народа и она, когда вырастет, добудет себе паспорт и уедет, а куда — всё равно. Николай тогда подумал, что, если выживет, надо вернуться сюда за ней, а потом уехать вместе на юг, к морю, в Крым или Баку, и забыть всё к чертовой бабушке — и деревню ее, и колонию, и войну.

Пока он лежал в Орле и еще хорошо помнил ее, они переписывались регулярно, но из второго своего госпиталя в Тамбове он писал ей уже редко. В Тамбове он числился среди выздоравливающих, ходил, в городе у него была подруга, хорошая баба, и жить где было, если бы с руками всё было в порядке — он бы женился на ней и остался здесь.

Катю он почти забыл. От нее по-прежнему раз в неделю приходили письма, но было видно, что она боится писать и думает над каждым словом. Адрес саратовского госпиталя он ей не послал, писать не хотелось, да и не верилось, что с руками что-нибудь наладится, а такой он не то что в деревне — в городе никому не нужен. Когда она в Саратове разыскала его, он не узнал ее: так она была красива и так не похожа на свои письма и на то, что он помнил по тем дням, когда она ходила за ним. В госпиталь она приехала рано утром, сразу с поезда, не обратила внимания на его руки, хотя он, когда обнимал ее, не сдерживал их и честно, как и говорил ему врач в Тамбове, молотил по ней, как по роялю. В тот же день они поженились. У одной из медсестер, прямо рядом с госпиталем, она сняла комнату и вечером перевезла его туда. В этой комнате они прожили неделю. Кажется, Катя еще тогда хотела, чтобы они остались в городе, но работу было найти невозможно: у нее, кроме колхозной справки, никаких документов, его никто не брал, денег при выписке дали очень мало, — и она тоже поняла, что надо возвращаться.

Прохор, Катин отец, до ареста был председателем колхоза, с тридцатого года по счету то ли седьмым, то ли восьмым, но раньше, до него, все председатели были пришлые — или из города, или из района, или из другой деревни, а он местный. В деревне давно привыкли, что председатель должен быть чужой, что он прислан сюда властью, назначен ею и снят будет, если что не так, тоже ею. Они знали, что председатель и сам из этой власти, что он был начальником до того, как его назначили их председателем, будет им и дальше, в другом месте, когда его заберут отсюда. С таким председателем всё было ясно: и то, что он свой среди других начальников, и то, что знает, что и как надо.

Год на год не приходится, и председатели тоже были разные. При одном деревня была кое-как сыта, при другом голодала, но и тогда все понимали, что никто в этом не виноват, что выбирали его не они, да, может быть, и не плох он вовсе, а так сейчас надо, чтобы для них он был не очень, а для страны хорош. А если председатель попадался сносный и люди не голодали, то и желать больше нечего.

В пришлом председателе было много хорошего: деревня была для него чужая, ничего и ни о ком он в ней не знал, сидел у них председателем редко больше года — значит, и узнать не успевал; жили здесь, конечно, не на одни трудодни, у каждого были свои хитрости и заначки, за счет них и перемогались в самые голодные годы. Хорошо было и то, что с приходом нового председателя ничего не менялось, даже приноравливаться особенно было не надо: был он — и были они, его жизнь и жизнь деревни шли как бы отдельно; ему и не завидовали никогда, настолько он был не их.

Про своих они всё знали: и кто чем кормится, и кто с кем гуляет, в каком доме девки родятся красивые, а в каком — работающие; у каждого было свое дело, свое место, которое занимать было не надо — оно так и переходило, как дом, от отца к сыну. Деревня была старая и ровная. За землю здесь всегда держались, ни особенных голодранцев, ни кулаков не было, никто свой хутор на отшибе не ставил, притерлись они друг к другу давно, еще при царе Горохе, да так прочно, что ни Столыпин, ни революция, ни коллективизация добить их не смогли.

С Прохором всё было по-другому. Он был свой. Можно сказать, что они его сами сделали председателем: сначала послали на курсы трактористов, там он и вступил в партию, потом позвали в бригадиры свекловодов. Бригада на следующий год заняла по району первое место, из области приезжал корреспондент, они ему Прохора нахвалили на большую статью; статью напечатали, Прохору дали медаль, а через год выдвинули в председатели. Старики первые поняли, что, если Прохор останется председателем, деревне конец. Не должен быть председатель из своих, нельзя так. Всё, чем деревня держалась — и что

вперед никто не лез, но не забывали и последних, даже в тридцать четвертом году, когда было у них совсем плохо, не умер никто, все выжили, и то, что каждый свое место знал и не дрался за чужое, не отнимал его у соседа, как в других деревнях, отсюда и сила на жизнь оставалась, — ничего этого при Прохоре быть уже не могло.

Хоть он свое место бросил, а уйти от них не ушел. Жить так, как будто его нет, нельзя, свой он, а делиться заново — ни один не будет доволен. Потом — как делиться: с одними он в дружбе был, те теперь пойдут за ним наверх, с другими — не очень. Мальчишкой обижали его многие, и невесту у него Петька Конюх семь лет назад увел — с ним что будет? И еще: как его, так и он всю деревню знал как облупленную. Если прежние председатели, когда с них требовали в районе, жали деревню, требовали еще — жали еще, а потом всё: как ни требовали, больше не жали, потому что не знали как, думали, что и не осталось ничего, нечего жать, так и в районе говорили: «Ни черта у них нет — всё выжали», то с Прохором не так. Он про все их заначки знает, и, когда будут с него требовать, хоть и не по своей воле, — не там остановится, где те председатели, а там, где и вправду жать нечего.

Как только Прохор стал председателем, сразу и начали на него писать. Но не все. Многие считали, что надо выждать и посмотреть: может, и так, без писем, снимут его потихоньку. Но месяца через два он вдруг объявил, что хлеба на трудодень будет давать вдвое против прежнего, и не только в конце года при расчете, а хоть каждый день — бери, сколько наработал. Такое уже раза три было в районе, правда, давно, до тридцать пятого года, но и тогда ни один председатель с новыми трудоднями не продержался и трех недель: двух сняли, а третьего даже посадили за разбазаривание колхозного имущества. Думали, что слетит и Прохор, но у него оказалась сильная «рука» — второй секретарь райкома, который его три месяца назад выдвинул в председатели, в итоге отделался Прохор партвыговором, но трудодни разрешили ему оставить по-новому, правда временно и в порядке эксперимента.

После этого выговора деревня и начала писать на него по-настоящему: знали, что ни Прохор, ни секретарь райкома не вечны, что всё равно трудодни к концу года, когда госпоставки добавят, срежут или до старого, или того меньше, что к хорошему привыкаешь быстро, а когда всё повернут обратно, делать уже будет нечего и есть тоже нечего. Догадались они, что по расчету или так, но искушает их Прохор, заманивает сытостью, а потом, когда применятся они к нынешнему и привыкнут, он же или кто другой всё назад оттягает и еще приберет частью то, что было у них при других председателях, до Прохора. А хуже всего, что раскрыл он их, ославил и выставил вперед.

Деревня и раньше считалась в районе зажиточной, а теперь, стоило кому появиться в городе или соседнем селе, узнавали и пальцами тыкали, а за глаза иначе как «кулаками» не называли. Значило это одно: чуть что район не выполнит — зерно ли, свекла ли, займы, — всё на них валить будут: «Вы кулаки, вам и платить». С голоду пухнуть станут, а всё равно не снимет с них никто ни гроша, так и помрут кулаками.

Чтобы не прогадать с письмами и не ошибиться, из деревни в райцентр каждый день посылали за газетами ходоков. Те раздавали их по дворам по очереди, везде, где были грамотные. Обносили только родственников Прохора, и не из-за того, что боялись, что те донесут ему, а потому, что виноваты они были не больше деревни, а губить свою кровь — страшный грех. Из газет брали всё, что было там о шпионаже, вредительстве и диверсиях, меняли только фамилию, имя, отчество и место, прочее оставляли, как в газете. Сначала думали не просто переписывать, а что-нибудь добавлять от себя, а потом не стали — в газете писали ясно, четко, красиво, у них так не получалось.

Через три недели из района прибыл наряд милиции и Прохора взяли. Четыре месяца о нем ничего не было слышно, шло следствие, а потом, уже в конце декабря, приехал в деревню первый секретарь райкома, привез с собой нового председателя, до этого у них было как бы безвластие, сказал, что они молодцы, проявили высокую сознательность и бдительность, что благода-

ря им разоблачен опасный враг и что через два дня, в воскресенье, в сельсовете будет показательный процесс над Прохором, областной суд проведет у них специальную выездную сессию.

Ни до того, как секретарь райкома привез другого председателя (пока его не было, многие считали, что это не зря, что Прохор вывернется и возвратится), ни потом, после суда, на котором ему дали пятнадцать лет лагерей, ни жену Прохора, ни Катю особенно не травили; иногда, правда, ребята ругали ее «вражбим отродьем», но это шло от учительницы и скоро кончилось. Вернуться назад, к тому, что было до того, как Прохор стал председателем, ни Катя, ни мать ее, конечно, не могли, не могли и уехать: ни денег не было, ни сил, да и не отпустил бы их никто. Так они и остановились — и не свои, и не чужие. Приусадебный участок им оставили, Катина мать пошла еще работать техничкой в школу, платили ей за это трудовыми, и до войны, а потом и до конца войны они кое-как протянули. Потом Катя поехала к Николаю, сказала, что навсегда, а через три недели вернулась. Мать знала, как трудно устроиться в городе, и была рада, что Катя вернулась хоть не одна.

Когда они приехали, кончался июль, вся деревня была на сенокосе, людей не хватало и травы переставали. Николая тоже послали косить. Бригада, одни бабы, приняла его хорошо, знали, что он воевал здесь и чуть ли не на этом лугу лежал раненый в воронке. После войны в деревне осталось, если не считать старых, только три мужика: два инвалида, каждый без ноги, и один целый. Мать целого ворожила и для своей деревни, и для соседних, и так его заговорила, что пять лет он провоевал и с немцами, и с японцами без единой царапины. В деревне думали, что месяца за два-три Николай тут освоится, всё поймет и уйдет от Кати, благо невест много, выбрать есть из кого.

В начале августа, когда кончили косить траву и уже начали убирать хлеб, бригаду, в которой был Николай, перебросили на пшеницу. Дня три он выходил в поле со всеми, а потом руки отказали. Уже неделю как он не мог сам есть, руки дрожали так, что ложку до рта доносил пустой — расплескивал. Сначала он

делал вид, что всё в порядке, что выливается капля, думал, что руки привыкнут к косе и дрожать перестанут, а потом, когда совсем ослабел, кормить его стала Катя.

Он не сразу понял, что всё опять вернулось назад, к лету сорок третьего года, когда он вот так же лежал в этом доме, не знал, что с ним будет дальше, выживет он или нет, а руки не слушались его и лежали рядом, как плети. Теперь они прыгали и скакали, но тоже не слушались, и Катя, как и тогда, придерживала рукой его голову и кормила из ложки. Он вспомнил, что еще в Тамбове, во втором своем госпитале знал, что с руками ничего не выйдет, никто их ему не вылечит, и не стал писать Кате, отвечать на ее письма.

Он подумал, что был тогда прав и Катя действительно не про него, и что она тоже была права, когда не хотела уезжать из города сюда, в деревню, что он настоящий инвалид, что привык, чтобы его кормили из ложки, что Катя его, кажется, любит — вчера, когда кормила, сказала, что боится, что беременна, и видно было, что рада. И, конечно, не надо было ему жениться на ней, но не жениться тоже было нельзя: и жизнь она ему спасла, и нашла, и приехала, и любил он ее. Еще он заметил, что больше не стыдится своих рук, что ему нравится, что они живые и прыгают, как дети. Он не хотел, чтобы Катя это поняла, и, когда в избе не было ни ее, ни ее матери, приладил к лежанке, на которой спал, две тугие веревочные петли и стал, когда надо было унять руки, всовывать их туда.

Дня через четыре, когда он уже окреп, начал вставать и даже принялся за давно обещанную Кате новую изгородь вокруг сада, пришел к нему бригадир. В избу заходить не стал, сел на лавку около ворот и сказал, что работать некому, пшеница уже сыплется, что Николай бы не дурил и выходил в поле, работают и без ноги, а не выйдет — не посмотрят, что инвалид, из колхоза выгонят и отнимут участок. Катя была в доме, слышала весь разговор и сказала, чтоб не ходил, что участок не его, а их, и они с матерью нарабатывают достаточно трудодней, чтобы не отняли. В тот же день вечером вызвали его к председателю, и тот

тоже сказал, чтобы шел работать, если хочет, чтобы оставили участок.

В середине ноября, когда Катя была уже на пятом месяце, мать ее тяжело заболела и слегла, и Кате пришлось вместо нее ходить мыть школу. В больницу мать не брали, дежурить с ней надо было всё время, у нее в голове была опухоль, и она часто теряла сознание, кричала и билась, как его руки. Когда Катя уходила убирать школу, оставался с ней Николай. Раньше они дружили; но, заболев, мать решила, что заразилась падучей от его рук, и, когда не было Кати, ругала и выгоняла его. Болезнь шла очень быстро, к весне мать начала слабеть, в промежутках между приступами почти совсем не двигалась, не разговаривала и, только когда Катя уходила, всегда плакала. Николая она больше не гнала, даже просила, чтобы он простил ее. Умерла она в начале марта, после долгого припадка, ровно за две недели до того, как Катя родила. В память о ней девочку назвали Наташей.

В середине апреля Николаю удалось достать в соседнем колхозе лошадь и они с Катей и двумя мужиками первые в деревне вскопали делянку и посеяли картошку. Кончали уже в сумерках, без Кати, она ушла кормить девочку и готовить на стол. В избу сразу не пошли, сидели на меже, говорили о войне, о старухе — сегодня как раз было сорок дней, потом, уже в доме, налили ей полную рюмку, хорошо помянули. Мужики рассказывали, как она плясала и пела, у одного из них была гармонь, он пошел за ней, и они втроем долго, почти всю ночь, пели фронтовые песни. Катя их не трогала, она сама много выпила, была рада, что посадили картошку, что помянули мать, что девочка здоровая и что, кажется, их больше не бегают как чумных.

Под утро гармонист стал играть для нее, она пела песни, которые когда-то слышала от матери, так же, как она, тянула и поднимала последние слоги. Голос звучал очень сильно и красиво, и она, и потому, что была пьяна, и потому, что песни были не ее, а матери, а сама она пела так давно, что успела забыть и свой голос, и что вообще умеет петь, думала всё время, что поет не она, а мать.

После сороковин Катя и Николай прожили в деревне меньше месяца, а потом, когда председатель, как и грозил осенью, отнял участок и присланный с МТС трактор всё перепахал, снялись, продали дом и уехали. Сначала они жили в райцентре, но там Николай не смог найти никакой работы, и они тронулись дальше. Были в Курске, Орле, Туле, Пензе, Тамбове, снова в Курске, потом в Воронеже и оттуда через Ростов в середине октября добрались до Гудаут.

Поезд был сухумский, после Адлера он шел очень медленно, подолгу стоял на каждой станции: неделю назад в горах прошли сильные дожди, дорогу в нескольких местах размыло и завалило камнями, и, хотя сейчас всё вроде бы починили, поезда по-прежнему двигались осторожно. В Гудауты они прибыли рано утром, сильно опоздав; по расписанию должны были стоять здесь полчаса, но состав тронулся дальше только через час, когда дождался встречного. Всё это время Катя и Николай гуляли по перрону, по привокзальной площади, грелись на уже теплом солнце, сидели на стоящей между пальмами скамейке.

Минут за десять до отхода поезда тут же, на вокзале, они прочитали объявление городского парка культуры и отдыха, которому требовались рабочие, и вдруг решили, что до Сухуми они доберутся как-нибудь и так, а здесь хорошо — парк, говорят, близко, прямо на берегу моря. По России они знали, что брать их без прописки не станут, а пока нет работы, никто их в Гудаутах не пропишет, но, чем черт не шутит, может быть, им так позарез нужны рабочие, что они на прописку внимания особого обращать не будут, возьмут их, а там, потом, как-нибудь всё устроится. В Гудаутах им и вправду повезло: директор был на месте, сразу принял их, сам он только год как демобилизовался, воевал там же, где Николай, на 2-м Украинском фронте, чуть ли не тогда же был ранен, они разговорились, выпили, он пожалел Николая: молодой мужик — и инвалид, и Катю — что пошла за него, вызвал кадровика и сказал ему, чтобы оформлял Николая на карусель кассиром-смотрителем, а Катю уборщицей.

В Гудаутах Николай прожил двенадцать лет, до самого дня своей смерти — 1 мая 1960 года. Он умер мгновенно от паралича сердца. Так же умер Федор Николаевич, и, судя по всему, в семье эта болезнь или предрасположенность к ней была наследственной. Правда, хотя Николай умер совсем молодым, в тридцать четыре года, контузии и ранение давно уже сделали его стариком: у него тряслись и руки, и голова, ходил он тоже с трудом, его шатало, и, чтобы не упасть, он всегда или опирался на что-нибудь, или для равновесия расставлял руки. Еще за год-два до смерти было видно, что он долго не протянет. После смерти Николая Катя осталась жить здесь же, в Гудаутах. От Николая у нее было трое детей — старшая дочь Наташа, сын Прохор, еще одна дочь Ирина, которая родилась в 1957 году, за три года до того, как Николая не стало. Год она вдовела, а потом снова вышла замуж. Во втором браке у нее тоже были дети — мальчики Роберт и Ваню.

В 1985 году я совершенно случайно разыскал Катю. К этому времени я уже знал, что Николай не погиб на войне, знал госпитали, в которых он лежал, проследил его путь до Гудаут: он писал своей тетке в Ростов, и среди ее бумаг я нашел несколько поздравительных открыток Николая с гудаутским штемпелем, но без обратного адреса. Дважды я был в Гудаутах, но найти ни Николая, ни Кати не смог. Почему — теперь понятно. Его уже давно не было в живых, а у нее была другая фамилия.

В сентябре 1985 года я с женой отдыхал в доме отдыха в Гаграх. Сентябрь там — лучший месяц, бархатный сезон, но на этот раз чуть ли не через день шли дожди. Мне надоело сидеть в четырех стенах и ждать погоды, и я, воспользовавшись тем, что в Гудаутском райкоме партии у меня было какое-то не слишком важное дело, на день уехал туда. Человека, который был мне нужен, на месте не оказалось, вроде бы он был в горах, в колхозе, но то ли сегодня, то ли завтра должен был вернуться. Чтобы узнать, ждать его или не ждать, я пошел в канцелярию. Заведующей оказалась женщина лет пятидесяти пяти, редкой красоты, по виду явно не грузинка — русская или, скорее, казачка. Она сидела одна, и мы разговорились. Звали ее Екатери-

на Прохоровна, и уже через несколько слов я вдруг понял, что это и есть Катя. Я сказал ей, кто я и кого ищу. Из соседней комнаты она позвала какую-то Лену, сказала, что у нее дела, что сегодня ее больше не будет, и мы ушли в город.

Она повела меня на кладбище, где похоронен Николай, откуда в парк культуры и отдыха, где они тогда работали, показала карусель, потом мы сидели на скамейке на пляже. День был пасмурный, народу было мало, она рассказывала про Николая, про себя и плакала. Вечером я был у нее и ее мужа в гостях, принимали меня по-королевски. Мы подружились, теперь регулярно переписываемся, а раза два в году и встречаемся — или у нас в Москве, или у них в Гудаутах. По просьбе Кати я так и не сказал ее мужу, что я родственник Николая и искал его.

Тогда, в октябре сорок восьмого года, сразу, как только их оформили на работу, Катя оставила Николая с девочкой и пошла в город искать жилье. Она проходила целый день, но так ничего и не сняла. Хотя сезон кончился, всё было безумно дорого, и хозяева говорили ей, что в городе много пришлых и дешевле не будет. Выручил их склад. Еще когда они с директором договаривались о работе, он в окно показал Николаю сарай, сказал, что там склад и что пока он будет и кладовщиком. Потом он дал им ключ и разрешил оставить в нем вещи. Сарай был доверху завален старой мебелью, кусками резной металлической ограды, обломками и частями разных аттракционов, еще черт-те чем. В нем они сначала и поселились.

Дверь склада открывалась вовнутрь, и единственное свободное место было то, где она ходила. Из досок Николай сколотил два топчана, на ночь они раскладывали их в этом закутке, днем же ставили стоймя. Две недели они занимались тем, что выносили всё, что было в сарае, на улицу, разбирали, сортировали, потом, приведя в порядок, несли обратно. Среди прочего нашлось и много нужного: запчасти для аттракционов, не работавших еще с довоенных лет, лампочки и провода иллюминации, а главное, масса всякой наглядной агитации, за отсутствие которой в парке директор только что получил выговор. Транспа-

рантам и лозунгам он был так рад, что разрешил Николаю выгородить в сарае маленькую комнатку — теперь там было свободное место, — прорубить окно и жить сколько хотят.

В этой комнате никто не трогал их почти целый год. Они, как могли, утеплили ее, сделали настоящие стены, в два слоя обшили их старыми плакатами, а поверху для красоты наклеили фотографии из журналов. Первое время они боялись, что, несмотря на разрешение директора, их вот-вот выселят, несколько раз к ним заходил кадровик и говорил, что склад — не место для жилья и им давно пора найти себе другое помещение. Только к маю, когда начался сезон и в город один за другим стали приходить поезда с курортниками, всем стало не до них, и разговоры сами собой заглохли.

Лето и начало осени они прожили спокойно, жили бы так и дальше, но в октябре в Гудаутах подряд сгорели сразу три склада с мануфактурой; ходили слухи, что жгли их сами кладовщики, чтобы скрыть недостачу, — но сделано всё было чисто, и доказать ничего не удалось. Убытки были такие большие, что сняли даже начальника пожарной охраны города, и велено было в течение недели самым суровым образом проревизовать на предмет пожарной безопасности все городские склады и навести порядок. Когда ревизия дошла до их парка и обнаружила комнату, Катю и Николая со скандалом выгнали на улицу, едва не уволили. Две недели они с девочкой ночевали на вокзале, а потом, когда карусель, на которой работал Николай, сломалась, Катя сходила к директору, и тот разрешил им, пока карусель не починят, ночевать прямо на ней.

В самый центр карусели, в подшипник, который крутил ее, был вставлен высокий, похожий на мачту шест, к нему крепился сделанный как шапито навес, он был двойной: верх из разноцветных, ярко раскрашенных полос брезента, низ из парусины. В хорошую погоду всё это было обернуто вокруг шеста, а когда начинался дождь, навес распускали, заводили за края карусели и крепко натягивали. Получался настоящий шатер. Чтобы превратить его в жилье, оставалось устроить вход. Катя бритвой

сделала небольшой, метра в полтора, разрез как раз между львом и жирафом, а чтобы он не пошел дальше, со всех сторон обметала его и пришила, как в хорошей палатке, пуговицы и петли. На это ушла почти неделя — парусина была такая плотная, что ломала иголки.

Лучшим временем для них теперь стали осень, зима и начало весны. С конца октября до начала апреля из-за холода и частых дождей карусель останавливали, шапито не надо было сворачивать и убирать. Николай сразу, как только они там поселились, сделал переходник для карусельного электрощитка, на первые же деньги Катя купила четыре электроплитки, и внутри всегда было тепло. Свет они себе тоже провели, но включали его редко, больше любили сидеть в полумраке, вокруг одних плиток, как около камелька.

Зимой парк почти не работал, иногда его не открывали целыми неделями. Николай и Катя оставались совсем одни и жили и делали что хотели. Когда случался хороший день, Катя с девочкой подолгу гуляли вдвоем в пустом парке, чаще всего прямо по берегу моря. У Николая был другой маршрут, каждый день он старательно обходил весь парк и, даже если начинался дождь, не шел в шатер, пока не кончал круга. Кате он говорил, что ему, как лесному зверю, надо метить свою территорию и что, если бы он этого не делал, их бы отсюда давно выгнали. В плохие дни они старались вообще не выходить наружу, грелись около огня и Катя, если была в настроении, пела.

В этом шатре они прожили одиннадцать лет, держались за него как могли. Здесь у них родилось двое детей — сын Прохор, названный так в честь Катиного отца, и маленькая Ира. Отсюда же их старшая дочь Наташа, а потом и Прохор пошли в школу, и умер Николай тоже совсем рядом, всего в ста метрах от шатра, и сюда же был принесен, и лежал здесь, на карусели, пока не повезли его хоронить. Катя говорила мне, что знает, что он так и хотел умереть тут, в парке, у себя дома.

Карусель начинала работать чаще всего в середине — конце апреля, в Гудаутах это почти лето, уже давно тепло, давно всё

цветет, погода установилась и дождей совсем мало. Вставали они теперь рано, еще до рассвета: надо было поднять и накормить детей, убрать с карусели топчаны и матрацы, на которых они спали, свернуть навес. Потом, когда становилось светло, Катя шла убирать парк и кончала только перед самым открытием. Больше работы у нее не было, и дальше она или занималась хозяйством, или подменяла Николая: сидела вместо него в кассе, продавала билеты, пускала и останавливала круг. Вечером, уже в темноте, когда парк закрывался, они снова вносили на карусель постели, снова натягивали навес и ложились спать.

Все знали, где они ночуют, знали, что это непорядок, но следов не было, и их не трогали. Постепенно они обростали имуществом: вместо топчанов купили две хорошие железные кровати с панцирными сетками, маленький шкаф, когда Наташа пошла в школу — стол, чтобы ей было где готовить уроки. Так прошло несколько лет, наверное, шло бы и дальше, если бы не болезнь Николая. С каждым годом ему становилось всё тяжелее носить вещи: и их было больше, и он слабел. Как-то, когда в парке уже неделю не было никого из начальства — директор уехал на двухмесячные курсы в Москву, кадровик болел, — Катя сказала Николаю, что сегодня они ничего трогать не станут, оставят всё как есть, аккуратно застелила кровати новыми покрывалами и пошла убирать парк. Она знала, что им это не спустят — город полон курортников, в парке не протолкнешься, гуляют, смотрят выступления артистов, стоят в очередях на аттракционы, и на карусель тоже, а там — черт знает что, вместе со слонами, тиграми и жирафами крутятся кровати и шкаф.

Скандал и вправду был дикий. Директор должен был после курсов идти на повышение, его собирались сделать заведующим отделом культуры горкома, а тут отозвали обратно, дали строгий выговор и приказали в один день покончить с безобразием. Он приехал в город, сразу, не заходя домой, пошел в парк, остановил карусель и сказал, что ждет Николая у себя в кабинете. Катя пошла вместе с Николаем, но директор не пустил ее, вытолкнул в коридор и закрыл дверь на ключ. Орал он страшно,

целый час материл Николая, называл его подонком и мерзавцем, кричал, что он не мужик, а желе, и ему не с бабой надо жить, а в богадельне, потом вдруг замолчал, отпер дверь и позвал Катю. С Николаем было плохо. Он стоял, прислонившись к стене, совершенно белый, с полуприкрытыми глазами, и почти не дрожал. Вдвоем они дотащили его до кресла, посадили, и тут у него начался такой же припадок, какие были у ее матери. Катя побежала в медпункт за врачом, привела его, Николаю сделали укол, он успокоился и здесь же, в кресле, заснул.

Директор всей этой историей был очень напуган, несколько дней даже не подходил к карусели, но в горьком на него продолжали давить, и в понедельник утром, еще до открытия, он нашел Катю, говорить с ней не стал, только сказал, чтобы они убились с карусели, иначе он велит рабочим всё разломать и выбросить, а их уволит. Катя ему ничего не ответила, но и делать ничего не стала. Николаю она сказала, что никакие рабочие их и пальцем тронуть не посмеют, что она была у юриста и тот ей объяснил, что выселить их можно только по суду и что директор это знает, они могут не бояться. Ни с работы, ни из города никто их тоже не выгонит: он фронтовик, инвалид, она мать троих детей, сейчас за этим очень смотрят, не те времена. Еще она сказала Николаю, что директору доводить дело до суда невыгодно; хоть и временно, а он сам разрешил им поселиться на карусели, на суде это вскрыется, и уволят не их, а его. Скандал идет большой, на весь город, раздувать его никому, и горькому тоже, не с руки, директор — человек в городе влиятельный, и, чтобы замять и кончить всю историю, он выхлопочет комнату, которую им уже двадцать раз обещали. Надо только не уступать и ждать.

Катин расчет, похоже, был правилен, но то ли у директора не хватило связей, то ли не было в городе свободного жилья, но комнату они так и не получили. Когда стало ясно, что комнаты не будет, директор, чтобы выжить их с карусели, устроил за Николаем слежку. В засаде сидел иногда он сам, но чаще кадровик. Ловили Николая, когда он пропускал Наташу и младших

детей на карусель без билета, кричали, что поймали его на месте преступления, что за использование служебного положения в личных целях сошлют его в Сибирь, в лагерь, но до края дело не доводили: если видели, что с Николаем что-то не то, сразу кончали, заставляли только купить билет и уходили.

Пока Катя рассказывала мне про их жизнь на карусели, наступили сумерки; мы сидели всё там же, на лежанке, у самой воды, пляж и раньше был для сентября пустоват, а теперь мы, кажется, были и вовсе одни. Когда совсем стемнело и я уже не мог видеть ее лица, Катя стала плакать. Потом мы поднялись и пошли в город. Катя жаловалась мне, что и от нее Николаю сильно доставалось, что детям всё время что-нибудь надо было на карусели — то уроки делать, то есть, то игрушку взять, в месяц на эти проклятые билеты уходила почти вся его зарплата, и им всем впятером приходилось жить на одни ее дворницкие пятьсот рублей, по-нынешнему пятьдесят. Николай ей каждый день клялся, что больше ни одного билета детям не возьмет, но так был запуган, что, когда ловили его, сразу покупал. Она тоже была дурой — надо было с него не клятвы брать, а деньги в каждую получку, а может быть, она и правильно делала, что оставляла ему деньги: и так он прожил всего полжизни, а без них, наверное, и того меньше. Здесь у него хоть выход был — покупал билет, и они отставали.

Потом она взяла меня за руку и сказала: «Вы только не подумайте, что директор был таким уж плохим человеком, он нас и на работу в парк взял, если бы не он, не знаю, где бы мы тогда устроились, и на склад, и на карусель — тоже он пустил жить. За одиннадцать лет мы, конечно, и жилье какое-нибудь найти могли или хотя бы, как раньше, сносить по утрам кровати. Тут я виновата, а не Николай, думала, что так нам комнату дадут быстрее. Его тоже понять можно: взял он нас на работу из жалости, дал сразу две ставки, и Николаю, и мне, хотел нам добра, что мог — делал, а от нас ему одни неприятности были. Он ведь местный, коренной абхазец, тут родился, тут вырос, всех и он здесь знает, и его, отсюда он на фронт ушел, воевал и с Германией, и с Японией, воевал храбро, в горьком партии столько ор-

денов ни у кого нет. С его биографией он бы уже давно был большим начальником, а мы ему подножку поставили. Только за два месяца до смерти Николая сделали его завотделом культуры, и всё — дальше он не пойдет. И еще. Может быть, не травил бы он так Николая, если бы меня не любил».

Катю он любил много лет, еще с того года, когда они сюда приехали, хотел, чтобы она стала его женой, брал ее вместе с детьми — такого тут не было никогда, и время было послевоенное, баб сколько хочешь, а мужиков нет. Николая он за мужчину не считал, звал его «дрожкой», не понимал, почему она с ним живет, почему не уходит. Все эти годы он не женился, ждал ее и, когда умер Николай, тоже не торопил, разрешил, как она и хотела, год носить по нему траур. Когда они поженились, он усыновил ее детей, дал им свою фамилию — вся родня была против, — и относился он к ним так же, как к их общим детям — Роберту и Ване, ничем не отличал.

Умер Николай на майские праздники. Карусель была старая, облезлая, краски, чтобы подновить зверей, не было, и ходили на нее плохо. План она за все годы не выполнила ни разу. А весной шестидесятого года вдруг завезли на склад самые разные краски, Николай заново расписал каждого зверя, в библиотеке специально для этого взял Брема и всё тщательно перерисовал — и полосы, и пятна, и крап. Получилось очень красиво. То ли из-за новой краски, то ли потому, что кадровик следил за ним очень внимательно, и он опять извел на билеты всю свою зарплату, но апрельский план карусель перевыполнила.

1 мая должны были чествовать победителя социалистического соревнования. Премию приехал вручать их директор, недавно назначенный завотделом культуры. Победителем признали Николая. Был оркестр, всё было очень торжественно. В парке есть открытая сцена, на ней и вручали награды. Когда Николая пригласили, все зааплодировали — относились к нему очень хорошо. Он вышел в костюме и в галстуке, который надел первый раз после того, как они с Катей расписались в госпитале. Волновался он, как ребенок, — весь красный, руки дрожат.

Дали ему и премию, и красный флажок передовика. Потом заводделом культуры говорил речь о задачах парка, особо упомянул Николая, сказал, что премия — это добрый знак, что он надеется, что у Николая теперь всё наладится, что награда эта не последняя: в горисполкоме уже подписан ордер ему и Кате на комнату.

Когда Николай услышал про ордер, он встал, хотел что-то сказать или спросить — и вдруг повалился. Сидел он вместе с другими ударниками в первом ряду и, когда Катя к нему подбежала, был уже мертв. Собрание прервали, подняли и понесли его на карусель. Сначала шел оркестр, а за ним все, кто там был. Николай, собираясь на торжество, оставил вместо себя в кассе Прохора; когда оркестр подошел, мальчик ничего, конечно, не понял, заставил всех купить билеты и только потом пропустил. Николая положили на стол, кто сел на зверей, кто остался стоять. Наконец оркестр заиграл траурный марш, и тогда Прохор включил карусель.

Хоронили Николая с тем же оркестром на следующий день, вечером, на Русском кладбище. Место вы уже знаете.

Угольев горсть среди травы,
Костер уже почти потух,
Гниющей с осени листвы
Я снова различаю дух,
Повсюду мох — лес стар и гол,
Как грустный дряхлый зверь лесной,
Я свой участок обошел
И медленно иду домой,
Лес пуст: ни ягод, ни грибов,
Ручей, сосна на полпути,
Среди безлиственных стволов
Мне легче по лесу идти.

Сергей, младший брат Николая, в детстве был до необычайности похож на мать. Мягкое округлое лицо с ее ямочками на щеках, такие же, как у Наты, большие зеленые глаза и тонкая,

прозрачная кожа. Ната всегда мечтала о дочке, рожала только сыновей и, наверное, из-за этой похожести на себя любила и баловала Сергея больше, чем других детей.

Когда в Волоколамск на следующий день после немецкого налета пришли два присланных из Москвы паровоза, всем разрешили выйти на пути и дали есть. Потом Сергея вместе с другими детдомовцами придали бригаде женщин-заключенных, и они всю ночь вручную вагон за вагоном разбирали составы, расчищали запасный путь, отцепляли и отталкивали туда разбитые и искалеченные теплушки. На рассвете, когда другая бригада стала соединять оставшиеся вагоны в два небольших поезда, женщинам велели подобрать мертвых с железнодорожного полотна и из сгоревших вагонов, вырыть прямо за тупиком, кончавшим запасный путь, общую могилу и похоронить их.

Дальше людям снова приказали построиться, и конвой начал сортировать их по статье, полу, возрасту и месту назначения, чтобы затем распределить по теплушкам. Во время вчерашней бомбежки сгорели почти все документы и списки заключенных, оба эшелона перемешались, и теперь всех, за вычетом погибших, надо было вернуть в исходное состояние.

Сначала эта работа шла довольно споро, но затем люди стали называть выдуманные статьи и фамилии, ничего не сходилось, охрана запуталась, и к полудню всё окончательно встало. Даже тех, кого уже посадили в вагоны, опять выгнали наружу и принялись проверять заново. Только в час дня, когда Волоколамск объявил воздушную тревогу и всем поездам, находящимся на станции, было приказано немедленно покинуть город, их за минуту распахали по ближайшим теплушкам, заперли и отправили в сторону Москвы.

В этой суматохе Сергей попал в тот же вагон, что и женская бригада, вместе с которой он хоронил убитых. Из Волоколамска они выбрались еще в самом начале бомбежки, и первые пятьдесят километров поезд шел без помех, очень быстро, нигде не останавливаясь, не сбавляя хода. При такой скорости, по расчетам, они через час должны были прийти в Москву на

Виндавский вокзал, однако не доезжая Дедовска их остановили и после коротких переговоров приказали свернуть на окружную дорогу и уже по ней идти на Казанское направление. По пути поезд еще несколько раз останавливали, меняли паровозы, отцепляли одни вагоны и прицепляли другие, и только за Шатурой, когда их наконец через сутки дороги выпустили из теплушек на opravку, охрана обнаружила, что Сергей попал не туда. К этому времени эшелон был уже целиком женский и шел в женский лагерь под Караганду.

В Муроме его пытались сдать в местную тюрьму, но та без документов брать его отказалась, и Сергея, пересадив в бывший в одном из вагонов спецбокс для опасных преступников, повезли дальше. Раньше в боксе держали шесть женщин, много заплативших конвоем за эту привилегию и переведенных теперь в обычный «столыпин». Это нужно было и самой охране как место свиданий, и она настойчиво старалась освободить его и сбить Сергея в каждом городе, где останавливался эшелон, но преуспела только на Южном Урале, в Кургане, где местная тюрьма согласилась наконец его принять.

Осенью сорок первого года дела в курганской тюрьме двигались до крайности медленно, не хватало следователей, да и положение на фронте казалось неопределенным. С теми подследственными, с кем всё было ясно, еще кое-как справлялись, а остальных даже не трогали. Почти перед самой войной по приказу сверху из сибирских, уральских и казахстанских лагерей были извлечены двенадцать видных членов партии левых эсеров; последние из еще живых, они были привезены сюда, и здесь, в Кургане, их должны были подготовить к большому показательному процессу. Задание было очень ответственное, взялись за него рьяно, но в конце сентября сорок первого года, после того как немцы вошли в Киев, из Москвы поступил отбой, и всё остановилось.

Эсеры понимали, зачем их привезли в Курган, понимали, почему дело застопорилось, и откровенно радовались отсрочке. В курганской тюрьме они пробыли больше полутора лет, до

декабря сорок второго года, когда следствию по их делу снова был дан ход. На этот раз с ними не возились, не пытали и не добивались признания, за месяц всё было кончено, они получили высшую меру и после положенной по закону отсрочки на апелляцию в феврале сорок третьего года были расстреляны.

Когда в сентябре сорок первого начальник курганской тюрьмы согласился выручить конвой и забрать у него Сергея, он сделал это по дружбе к отцу одного из тамошних офицеров. Тюрьма была переполнена, что делать с мальчишкой, никто не знал, документов никаких, кто он и за что сидит, тоже непонятно, штрафбат отпадал — на вид ему было никак не больше тринадцати лет, вокруг города, как на грех, ни одной колонии, значит, и туда не спихнешь. В конце концов после недели сидения в камере предварительного заключения его перевели к эсерам, в самую пустую камеру тюрьмы, и так же, как о них, на полтора года забыли.

Эсеры приняли Сергея без возражений. Большинство их сидело в лагерях по десять — пятнадцать лет, последний раз они освобождались гуртом по амнистии в тридцать первом году, и то не все и ненадолго. В середине тридцать второго года их опять забрали, дали новые сроки и больше не выпускали. С тридцать второго года, когда те из них, кто успел в короткие перерывы между подпольем, арестами, революцией и лагерями жениться и родить детей, видели их и говорили с ними, прошло почти десять лет. О своих детях они ничего или почти ничего не знали, если что и доходило с воли, то редко и случайно. Из-за революционной работы семейная жизнь их была отрывочной, еще более отрывочными были их отношения с детьми, ничего не успело наладиться и устояться, и, хотя они, как могли, берегли и повторяли всё, что было с ними на свободе, эта часть жизни с каждым годом помнилась им труднее и хуже. Остались и как бы завершились отдельные истории и воспоминания, но общий облик ушел, и они уже знали, что не смогут вернуть его. Они понимали, что дети их теперь стали совсем другими и того ребенка, которого они видели и любили, нет и не будет. Он давно и без них вырос, да и им самим отсюда больше не выйти.

Еще до того, как в сорок первом году их, выудив из Казахстана, Северного Урала, Норильска и Колымы, перевезли для нового следствия в Курган, примерно за два-три года перед войной, в зоны с оказией всё чаще начали приходить известия, что в Москве, Ленинграде и других городах прошла новая волна арестов, яблоко от яблони недалеко падает, и на этот раз брали уже их детей. Правда, никто из эсеров своих в лагере еще не видел: то ли они сидели по тюрьмам, то ли были на этапе, или система пока работала хорошо и успевала следить, чтобы двое с одной фамилией, одной статьей и одним сроком в один лагерь не попадали. Слухи о новых посадках были очень настойчивы, и они, не зная, правда ли это, думали, что, доведись им встретиться со своими детьми в зоне или здесь, в тюрьме, они встретятся не как отец с сыном, а как взрослые и почти чужие люди, да и не дай бог, чтобы они встретились. Сами они сидели и раньше, до революции, сидят и сейчас, сидят, хоть что-то сделав и худо-бедно понимая, на что шли, а дети их совсем ни при чем, и, значит, сил, чтобы отсидеть срок и выжить, у них не будет. Они неизвестно зачем завели их и так же неизвестно зачем — погубили.

Почти у половины эсеров детей вообще не было, и, когда Сергея посадили к ним в камеру, они впервые после своего детства неожиданно снова оказались так постоянно и рядом с ребенком. Сергей напомнил и восстановил им огромный кусок их собственной жизни, время их свободы продлилось, у некоторых удвоилось и даже утроилось, центр тяжести сместился, и они, оставаясь всё теми же народниками и революционерами, получили еще и другое, на этот раз не партийное прошлое. Но и для тех эсеров, у которых были собственные дети, Сергей был ближе их. Четыре года, проведенные в спецдетдоме, этап, теперь тюрьма сделали его жизнь намного более похожей на их жизнь, чем жизнь их родных детей. Всё, что они знали и умели, весь их лагерный опыт был необходим и, возможно, спасителен для него. Это равно понимали и он, и они, а главное: в том, что он попал сюда, они не были — во всяком случае, напрямую не были — виновны.

Они часто сравнивали Сергея со своими детьми. Попади те сюда, всё, что можно было для них сделать в самых нереальных и фантастических мечтаниях — быть расстрелянными вместо них, весь срок отдавать им свою пайку и жить весь срок, чтобы весь срок отдавать, — всё это было невозможно и несправедливо по сравнению с тем, что было у них отнято. Ведь и расстрел они тоже получали за них, за своих отцов, так что, если ты вместо сына пойдешь под пулю, это будет твой, истинно твой расстрел, а он, оставшийся жить в лагере, останется со сроком, который тоже только твой срок, а не его, и не вытянет он этого срока, умрет здесь, в лагере, хоть и не от пули, потому что нет и неоткуда взять ему пока сил, чтобы сидеть за другого.

Схождение Сергея с сокамерниками шло быстро. Детство его уже кончалось, он был на переходе, в том возрасте, который они уже понимали и знали, как себя с Сергеем вести, в котором легко могли вспомнить себя. Между ними и им не было никакого барьера, никакого препятствия, и уже в первый день их совместного сидения, едва узнав его историю, они начали помогать ему и — главное для него после долгого и тяжелого этапа — подкармливать.

Потом, через неделю или через две, привыкнув и уже как бы зная Сергея, относясь к нему как к человеку, которому они делали и хотят делать добро, они осторожно, понемногу станут рассказывать ему о своей собственной жизни, о тех, с кого началось народничество, о подпольной работе, о революции. Они еще не уверены, что это будет для него так же необходимо и справедливо, как для них, что он не обвинит их во всём том, что было после, в том, что есть сейчас. Они боятся его приговора, боятся итога, который он подведет их жизни, им важно, что Сергей нейтрален, беспристрастен, что и он сам, и его родители — не из них.

То, что происходило тогда в камере, было похоже на старые, дореволюционные процессы, которые были для народников и для тех, кто их поддерживал, едва ли не важнее всех заговоров и покушений, процессы, на которых им давали говорить

родовольцев в Третьем отделении, сообщавшего им обо всех планах полиции, предупреждавшего и спасавшего их. Почему именно Клеточников так привлекал его, неизвестно. То ли особенностью своей роли, то ли тем, что был старше и неизлечимо болен. Кажется, то, что делал Клеточников, и его возраст, и болезнь, и быстрая — в течение нескольких месяцев после приговора — смерть в Петропавловской крепости от голодовки, и последующий кризис «Народной воли», — всё это легко соединялось им, акценты смещались, Клеточников становился отцом, а те, другие, его детьми, он защищал их и хранил, и умер, когда помочь уже больше не мог.

Еще в курганской тюрьме его удивлявшие сокамерников настойчивые расспросы о Клеточникове — по их памяти о своем детстве, он мог интересоваться так кем угодно, только не им, — породили длинную цепь споров о тайных агентах революционеров внутри полиции и полиции среди революционеров. Эти споры вертелись почти всегда вокруг Судейкина, Дегаева, Азефа, и некоторые из них Сергей хорошо запомнил. Один из сидевших с ним эсеров, Валентин Платонович Старов, человек со странным, без ресниц и бровей лицом, даже подготовил семь тезисов об отношениях полиции и подпольной партии, которые потом долго обсуждались в камере.

Он утверждал:

Первое: между революционерами и полицией было много сходства — в обществе жандармы тоже были на свой лад изгоями, их презирали, ими брезговали, их служба считалась постыдной. И как изгой, и как чиновники, знавшие самые важные тайны режима, знавшие режим изнутри, они лучше других понимали гнилость системы и смотрели на нее почти так же, как революционеры.

Второе: народники и полиция зависели друг от друга, особенно полиция от народников — ее авторитет и положение целиком были связаны с ее успехами в борьбе с «Народной волей», но и успехи эти не должны были быть чрезмерными: успокоение в обществе, падение напряжения, ослабление опасности

немедленно приводили к тому, что полиция сразу теряла свое влияние, правительство забывало о ней, а общество вновь третирировало и презирало. Эта взаимосвязанность и совпадение интересов — полиции были необходимы народники, необходимы успехи, а не конечная победа над ними — стали основой их будущего — на беду, недолговечного — союза.

Третье: долгие годы борьбы один на один секретной полиции и народников, их узкая направленность друг на друга привели к тому, что они всё больше повторяли и дополняли, всё больше сходились между собой, пока не стали как бы зеркальным отражением друг друга. Многие из народников 70–80-х годов были людьми выдающимися, боровшаяся с ними полиция тоже была по-своему выдающейся, в ней было много талантливых агентов и сыщиков, и, в общем, между революционерами и сыском всегда существовал паритет. Серьезного отрыва ни одна из сторон не добилась ни разу, каждое движение в этом противоборстве вызывало ответное, они всегда шли парами, как филер и объект его наблюдений.

Четвертое: Дегаев и Судейкин первые поняли, что никакого зеркала между полицией и народниками нет, что они нужны друг другу и должны объединиться.

Пятое: боевики, которые были выданы Дегаевым, Азефом и другими провокаторами и погибли, знали, на что шли, в массе своей они были рядовыми бойцами и легко заменялись. Победы без жертв не бывает, кроме того, нет никаких данных, что до Азефа число арестованных было намного меньшим. В любом случае в сравнении с деятельностью партии, которая никогда не была такой успешной, как при Азефе, число это никак не выглядит чрезмерным. Вне сомнений, союзная деятельность полиции с народниками, а потом эсерами, совместная подготовка ими целого ряда покушений в огромной степени расширяла возможности террора и одновременно дискредитировала правительство, ослабляла и разлагала власть.

Шестое: наличие провокаторов в подпольной партии всегда велико и неизбежно. Провокаторы легче и быстрее делают пар-

тийную карьеру. Полиция может и широко помогает им в приобретении репутации (успешные акции, побег), основных соперников своих людей она легко дискредитирует или просто изымает с помощью арестов. Естественно, такое положение трудно назвать нормальным, но партия, находящаяся в подполье, и не может сковывать себя нормами — слишком опасно и неустойчиво положение. В условиях подполья лидеры партии, пускай даже ставшие ими с помощью охраны, — действительно наиболее успешные и полезные ее члены. Они нуждаются во всемерной защите, и следует признать, что деятельность известного Бурцева и помогавшего ему директора департамента полиции Лопухина, разоблачивших Азефа, с одной стороны, нанесла страшный удар по престижу партии, а с другой — укрепила правительство.

И, наконец, седьмое: все революции начинались как провокация охраны, но дальше, если почва была подготовлена — суть именно в этом, — события выходили из-под контроля полиции и народ побеждал.

Еще в конце осени сорок второго года по многим признакам стало видно, что передышка, дарованная войной, кончается. Первым начали водить на допросы Сергея. Следователь вел дело вяло, расспрашивал его, как он попал в спецдетдом, как оказался в женском эшелоне, заговаривал и о сокамерниках, но интересовался больше не политикой, а что за люди. Эсеры готовили Сергея к допросам, и он то ли благодаря этим урокам, то ли из-за мягкости следствия держался, кажется, хорошо. В августе сорок первого, незадолго перед тем, как Сергея посадили к ним в камеру, эсеры решили использовать то, что они собраны в одном месте, и провести первую за последние десять лет партийную конференцию внутри России. Появление Сергея и правила конспирации остановили эти планы, теперь, когда его почти каждый день водили на допросы, конференция снова стала возможной и была открыта 30 ноября 1942 года. Всего состоялось шесть заседаний.

На первом было решено, что данная конференция будет иметь все права съезда, была выработана повестка дня и начались прения. Обсуждались три вопроса. Первый: положение партии в на-

стоящий момент, второй: выборы председателя и ЦК, и последний: прием в партию Сергея Федоровича Крейцвальда.

По первому вопросу выступали все эсеры. Большинство сошлось на том, что сейчас партия переживает тяжелый кризис: огромна убыль членов, причем в первую очередь наиболее испытанных и активных бойцов, почти нет притока новых сил, возможности эсеров влиять на положение дел в стране минимальны, связи между отдельными членами партии, как находящимися в заключении, так и на свободе, заморожены, нет контактов между эсерами, живущими в России и в эмиграции, — но в то же время положение далеко не безнадежно. Полуторагодичный опыт бесед с Сергеем Крейцвальдом показал, что идеи и программа народников по-прежнему чрезвычайно популярны и в случае начала широкой пропаганды привлекут тысячи и тысячи новых бойцов. Необходимо при любой возможности, не считаясь ни с каким риском, стремиться к распространению взглядов народников, к увеличению численности партии и, конечно, к омоложению ее рядов.

На последнем заседании конференции, 24 декабря, был решен вопрос о приеме в партию Сергея Крейцвальда. Он вызвал острые разногласия по двум причинам. Первое: от него не поступило формального заявления, второе: он еще ничем не успел зарекомендовать себя. Оба возражения были между собой тесно связаны. Все эсеры знали, что Сергей мечтает быть принятым в партию, но, считая, что пока не проявил себя в деле и, следовательно, не достоин, подавать никакого заявления не будет. После долгих споров большинством голосов — семь против пяти — было решено, учитывая только что утвержденную резолюцию о курсе на омоложение, принять Сергея Федоровича Крейцвальда в ряды левых эсеров, но, чтобы не ставить его под дополнительный удар, сообщить ему о результатах голосования только после окончания следствия по его делу.

В тот же день был выбран новый председатель партии и ее ЦК в составе пяти человек и постановлено, что, так как в настоящий момент социалисты-революционеры лишены возможности проводить конференции и съезды в соответствии с обычной

практикой, пополнение ЦК в случае гибели одного или нескольких членов будет производиться путем автоматической кооптации из числа эсеров, сидящих в этой камере, в строгом соответствии с их партийным стажем. То же правило распространяется и на пост председателя партии.

До 29 декабря дело Сергея тянулось всё так же медленно и, по расчетам, должно было продлиться еще никак не меньше месяца. В этот день его, как обычно, водили на допрос, но уже через час вернули обратно, а в полдень пришли снова и велели собираться, на этот раз с вещами. Своего у него совсем ничего не было, эсеры надавали ему кто что мог, в основном — теплое, они обнялись, простились, и его сразу же увели.

Допросы велись в невысоком трехэтажном здании спецчасти, замыкавшем тюремный двор с севера. Сейчас они с охранником снова пересекли его, вошли в спецчасть, но подниматься на второй этаж, где находились кабинеты следователей, не стали. Через две защищенные стальными решетками двери с маленькими окошками для пропусков его вывели прямо на улицу, на другой стороне которой, точно напротив спецчасти, находилось здание областного суда. Ускоренное судопроизводство не заняло и получаса: ему дали двенадцать лет за сотрудничество с контрреволюционной партией эсеров, немедленно после оглашения приговора отвезли на вокзал, сдали конвою и отправили в один из лагерей под Новокузнецк.

После полутора лет сложившейся, почти неизменной жизни, от которой в его памяти не осталось никакого ощущения времени, даже времен года, никаких событий и ориентиров, сохранились только разговоры, которые он, помня, кажется, все, никогда, как ни старался, не мог датировать или хотя бы установить их примерную последовательность, — сразу за этой медленной жизнью, завершая и отрезая ее, шло 29 декабря. Всё, что составило этот день, — допрос, возвращение в камеру, то, как его снова, на этот раз окончательно, забрали, суд, вокзал, эшелон — было так странно быстро, что только в середине января, уже две недели находясь в лагере, он наконец понял и восстановил то, что с ним произошло.

Прощание Сергея с сокамерниками было коротким, в камере всё время присутствовал надзиратель, и эсеры не захотели или, скорее, не сумели сказать ему о том, что пять дней назад он стал их товарищем, и он так никогда и не узнал, что 24 декабря был принят в члены партии левых эсеров. Не узнал Сергей и того, что в марте следующего, сорок третьего года, когда все, кто сидел с ним вместе в камере курганской тюрьмы, были расстреляны, он, последний из оставшихся в живых, стал в соответствии с решением партийной конференции членом ЦК и председателем партии.

В лагере, восстанавливая 29 декабря, он труднее всего вспоминал суд. То, что говорили прокурор и судья, вопросы, которые ему задавали, обвинительное заключение, приговор — двенадцать лет за сотрудничество с эсерами, — всё, как и тогда, пять лет назад, когда за ним пришли в первый раз, пришли прямо перед тем, как он должен был идти на вокзал воровать, чтобы накормить себя и брата, было непонятно и необъяснимо справедливо. Это сознание правильности и справедливости всего, что с ним было, его вера в умение органов предвидеть и предупредить любое преступление, во всяком случае — его преступления, мешало ему, и он до конца жизни так никогда и не почувствовал себя прочно стоящим на земле.

Лагерь, в который Сергей попал и в котором он отсидел весь свой срок до дня освобождения, находился рядом с поселком Бугутма, в сорока километрах на север от Новокузнецка. Здесь еще за несколько лет до войны была построена довольно большая фабрика, выпускавшая шпалы и крепь для горных выработок. С началом войны, осенью сорок первого года, когда после мобилизации работать на ней стало некому, через поле от фабрики соорудили зону, поставили вышки, комендатуру, четыре больших, из хорошего дерева, барака — здесь всем повезло — и к ноябрю, заселив лагерь, снова пустили ее. После войны на фабрике мало что изменилось. Как и раньше, на ней работали почти одни заключенные, и так они за эти годы сроднились — лагерь и фабрика, так приладились друг к другу, что, наверное,

и сейчас всё в Бугутме по-старому: те же разводы, те же смены, та же работа.

Освободился Сергей в самом конце пятьдесят четвертого года, но уезжать никуда не стал. Он не пытался вернуться в Москву, не разыскивал никого из родных, не написал ни по одному из адресов, которые дали ему эсеры и которые он, несмотря на двенадцать прошедших лет, помнил все. Он остался здесь, в Бугутме, и больше года проработал вольнонаемным на той же фабрике.

Тюрьму и лагерь он знал, здесь он вырос и выжил, значит, знал неплохо, он привык ко всему тому, что было лагерем, к ходу лагерной жизни, к ее правилам, к тому, что здесь было важным и за что следовало бороться, и теперь, когда надо было начинать всё сначала, он сразу решиться на это не мог. Как и другие, он мечтал о свободе, мечтал быть свободным и жить там, где живут свободные, вне зоны, вне лагеря, но всё равно и тогда лагерь был для него в центре всего, в центре любой свободы и он с трудом мог представить, что живет где-нибудь, где рядом нет лагеря.

Лагерь по-прежнему тянул его, и он каждый день вечером, после конца фабричной смены, когда заключенных уводили обратно в зону, ждал час или полчаса, пока всё успокоится, и шел за ними. Он доходил почти до самых ворот, здесь сворачивал и начинал кругом обходить лагерь. Везде было совсем темно, и только от прожекторов, ярко освещавших зону, сюда доставало немного света и были видны длинные, как при луне, гладкие полосы снега и неровные, вдавленные в него тропинки. Зимой он старался держаться как можно ближе к лагерю, но к лету его круги расширились, теперь внутри них оказался и небольшой березняк, и такое же небольшое болотце, путь его удлинился, и он всё чаще стал возвращаться в Бугутму уже к ночи. Все-таки и после лета он прожил здесь целую осень и половину зимы, и только в январе пятьдесят шестого года вдруг понял, что свободен, что его никто не держит, в один день взял расчет, на попутке добрался до Новокузнецка и сел в первый же поезд, идущий в Россию.

В камере курганской тюрьмы вместе с ним сидел Федор Васильевич Лужков, из всех эсеров, кажется, самый старый, пер-

вый раз он арестовывался еще в 1889 году. У Лужкова была жесточайшая астма, по ночам он задыхался, хрипел, но к утру приступ обыкновенно проходил, он звал Сергея сесть к нему на нары, и они часами то рассказывали друг другу о своем детстве, то просто хвастались им. Разговоры эти почти всегда кончались тем, что они принимались уличать друг друга во лжи, ругались, и Сергей уходил на свое место. На следующий день они обыкновенно мирились. Такие разговоры он вел только с Лужковым. Почему — не знаю. Кажется, тот тоже рано лишился родителей, чуть ли не в том же возрасте, что и Сергей, в десять лет, и так же сразу обоих: они умерли в одну неделю в Одессе во время вспышки холеры. Это равняло их. Друг о друге они знали почти всё. Только о времени, которое было рядом со смертями и арестом, они не говорили ни разу, ни разу не касались его. Из осторожности они даже создали здесь запретную полосу в несколько месяцев шириной, защитный кокон, после которого их жизнь начиналась как бы заново и была уже совсем другой.

В первые годы своей лагерной жизни Сергей чаще всего вспоминал именно Лужкова. Обычно он представлял его братом, своим и Николаем. Звали Лужкова так же, как их младшего брата, — Федором. Федора, родившегося всего за год до ареста родителей, Сергей знал совсем мало, и это совпадение имен было для него очень удобным. Он вспоминал вместо Федора, которого помнить не мог, Лужкова, замещал Федора Лужковым, и их всё равно, так же как и на самом деле, было три брата: Николай, Сергей и Федор.

Так продолжалось несколько лет. Потом, когда помнить Москву, родных, всё, что было с ним до заключения, до спецдетдома, ему, как и другим, стало всё труднее (в немалой степени из-за той пуганицы, которая была связана с Федором и Лужковым), он недолго думая соединил свои воспоминания с его, соединил свое и его детство, а Лужкова помнил после этого уже только взрослым и не выделял из других эсеров.

В лагере Сергей вообще старался всё, связанное с эсерами, слить воедино, вспоминать и помнить их — только вместе. Пси-

хологи, занимающиеся детьми, говорили мне потом, что так и должно было быть: ребенок всегда хочет, чтобы его родители были вместе, и, если семья нормальная, они и воспринимаются им только вместе. В этом — основа его уверенности в себе. В сознании ребенка родители всегда слиты, он никогда не делит их и больше всего на свете боится противопоставить друг другу и обидеть. Если от него добиваются ответа, кого он больше любит — маму или папу, он или говорит «не знаю», или «и маму, и папу».

В лагере помнить эсеров вместе и не разделять их Сергею помогало идущее от партии единство их взглядов, созданное заключением сходство судеб и то, что при нем они жили и были действительно всегда вместе, всегда в одной камере. Теперь, когда Сергей был на свободе, ехал и мог ехать куда угодно, его общая память о сидевших с ним почти сразу же начала распадаться. У каждого эсера были свои родные, свой дом со своим адресом, и эти адреса, которые в тюрьме помнились и говорились ему просто так (никто из них не надеялся ни на скорое освобождение Сергея, ни тем более на свое), теперь вдруг сделались самым важным. По ним, по этим прежним местам жительства, они и стали дробиться и расходиться в разные стороны.

Вместе с Сергеем на свободу вышла какая-то часть жизни его сокамерников, приговор «без права переписки» был нарушен, и теперь он должен был или быть, или написать по каждому из данных ему адресов, по каждому — свое, чтобы то, что он знал о сидевших вместе с ним, то, что помнил о них, разошлось и дошло до их родных. По адресам Сергей и разделил их на фракции: московская, ленинградская, киевская...

Первой была пензенская. В расписании, висевшем в вагоне, значилось, что поезд идет в Москву через этот город. В Пензе жили, или, во всяком случае, двенадцать лет назад жили, родные Лужкова — жена Нина Петровна и дочь Александра. О своей дочери Лужков много рассказывал, тогда ей было около тридцати лет, теперь — больше сорока. В поезде Сергей решил, что сойдет в Пензе, и там же, в поезде, думая и вспоминая Лужкова,

как бы готовясь к встрече с его женой и дочерью, он отделил свое детство от его и вернул взятое у Лужкова.

До Пензы они ехали больше трех суток. После Урала почти всё время шел снег, несколько раз их останавливали, и они подолгу ждали, когда расчистят путь. Только на правом берегу Волги или снега наконец стало меньше, или его уже успели убрать, поезд пошел быстрее. В Пензу они прибыли в четыре часа дня, было еще совсем светло, и Сергей решил, что сначала, до Лужковых, он пройдет и посмотрит город.

Выйдя из здания вокзала, он пересек площадь и у трамвайной остановки, так же, как пути, взял направо. Вслед за трамваем он повернул на довольно большую улицу, начинавшуюся странным нежно-розовым домом. Улица, как и всё вокруг, была завалена снегом и от этого казалась особенно широкой и пустой. С обеих сторон она была обсажена деревьями — липами или тополями, с толстыми и от того же снега двухслойными ветвями. Дома — трехэтажные, старые, но еще совсем крепкие, — стояли плотно, часто без проходов, и было видно, что строили их в одно время, что они сжились и подходят друг другу.

Снегопад кончился, и почти везде дворники уже сгребали снег, но и там, где они всю убирали, и там, где пока еще не начали, люди двигались медленно и старались наступать только на узкую, обозначенную песком дорожку. Трамваи тоже шли медленно и всё время звонили. По этой улице Сергей дошел почти до самого берега реки; здесь, на взгорке, и улица, и дома, и пути сразу кончались, кончался и город. Улицу продолжала тропа, которая круто вниз спускалась в пойму Суры. Весной, во время паводка, всю эту низину, наверное, затопляла вода, и поэтому тут никогда ничего не строили. За рекой начиналась другая, еще не признанная часть города, больше похожая на довесок.

Отсюда, с высокого правого берега, она была видна почти вся. Моста не было, и люди такой же тонкой черной, как и в городе, цепочкой перебирались через Суру прямо по льду и там, на той стороне, делились и расходились по переулкам. Спускаться вниз ему было незачем, и Сергей повернул на улицу, ко-

торая шла вдоль реки. В конце ее еще отчетливо, несмотря на сумерки, была видна высокая белая церковь. Там только что начали звонить. Это была самая окраина города, дома сплошь маленькие, и, хотя церковь стояла далеко, они не заслоняли ее.

Когда Сергей дошел до церкви, было уже совсем темно. Войдя в храм, он остановился у самого входа и стал смотреть службу; народу было мало, и внутри почти так же холодно, как на улице. Слов он не понимал и не особенно в них вслушивался, только крестился вместе со всеми и думал, что ему сейчас надо идти к дочери Лужкова и говорить ей, что ее отца нет в живых, нет, скорее всего, уже много лет. Он думал о том, что и Лужков, и все они наверняка были крещеные, что, где и как они похоронены, никто никогда не узнает, что они хотели людям добра и, по-видимому, будет правильно, если он попросит, чтобы среди людей, которых здесь поминают, помянули и их.

У старушки, которая стояла рядом с ним за свечным ящиком, он спросил, как это сделать, и она сказала, что надо заказать молебен — написать на бумажке имена всех, за кого он хочет, чтобы священник помолился, и завтра во время утренней службы батюшка прочтает их, надо только указать, за здоровье или за упокой. Сергей написал «за упокой», потом все имена, дал ей бумажку, дал деньги за молебен — и вдруг понял, что это неправильно, что кто-нибудь из них, может быть, жив, что в лагерях бывало всякое и молиться за упокой живого нельзя. Он снова спросил ее, как ему быть, если он не знает, живы эти люди или умерли, она была недовольна, что он мешает ей слушать Евангелие, отвечать ничего не стала, долго молчала и только когда кончилась служба, сказала, что, если не знает, надо молиться за здоровье и надеяться. Сергей зачеркнул «за упокой», написал «за здоровье», отдал ей листок и вышел на паперть.

Было совсем поздно. Здесь же, у церкви, ему объяснили, где находится улица, которая была указана в его адресе. Сергею надо было вернуться обратно к трамвайным путям и от конечной остановки, так же, как те люди, которых он уже видел, спуститься вниз, перейти на другую сторону реки, а там ему покажет каждый.

До дома Лужковых Сергей добрался только в одиннадцатом часу. Постучал, дверь ему открыла немолодая женщина с серыми то ли от света, то ли от седины волосами, и, входя, он уже знал, что это и есть Александра. Она была похожа на отца, хотя сказать, чем, ему было бы трудно; он только удивился, что она намного старше, чем он думал. Все-таки он сказал, кто ему нужен, назвал ее по имени-отчеству — Александра Федоровна, услышал и ответ: «Входите, это я» — и сразу понял, что никого у нее нет, что она по-прежнему ждет, что вернется отец, ждала его и сегодня — а пришел он, Сергей. Но всё же он пришел от ее отца, и отец ее был к нему привязан, сам дал ему этот адрес, сам хотел, чтобы он поехал сюда, — и, значит, какая-то правда в том, что он здесь, наверное, есть. Она пригласила его в комнату, поставила на керосинку чайник, села напротив, и он стал рассказывать ей то, что знал о ее отце. Они проговорили тогда и вечер, и ночь, и кончили только утром, когда ей надо было идти на работу.

В этом их первом разговоре курганской тюрьмы было мало, Лужков там был вместе со всеми, вычленять его было трудно и не надо, и Сергей, понимая это, чувствуя, чего она от него ждет, просто одну за другой, подряд, пересказывал ей истории Лужкова о его детстве. Когда-то сам Лужков рассказывал их Александре, и в ней они были связаны, начинали и кончали все те недолгие перерывы между его арестами и подпольем, когда они были вместе — он, мама, она — и жили, как другие, не скрываясь и не таясь. Она знала и помнила их все — и теперь слушала Сергея, как когда-то отца. Потом, через день или через два, когда они уже говорили о Кургане, она сказала ему, что мама умерла еще в сороковом году, что, кроме Старова, все люди, которые сидели с ним в камере, ей знакомы, она переписывается с их родными и знает, что никого из них пока не освободили, ни о ком ничего не известно с последних предвоенных лет. Она сказала ему, что после смерти матери живет совсем одна, что у нее есть пустая и ненужная ей комната и, если у Сергея нет никаких планов и его никто не ждет в Москве или в каком-то другом городе, отец и она будут рады, если он поселится в этом доме.

Недели через две после не очень сложных хлопот (шел пятьдесят шестой год) ей удалось прописать Сергея у себя, и он сразу же устроился на маленькую мебельную фабрику, расположенную тут же, на соседней улице. На этой фабрике Сергей отработал больше года, а потом Александра обучила его переплетному делу, и его взяли в областную библиотеку, в которой работала она сама. Работы в библиотеке было немного, и Сергей почти весь день читал, сначала, по словам Александры, бессистемно, в основном те книги, которые ему давали переплетать, но в конце концов понял, что она права, такое чтение — пустая трата времени, и читал дальше уже только по плану, который Александра ему составила.

Пятьдесят шестой, пятьдесят седьмой и первая половина пятьдесят восьмого года были для Сергея очень плодотворны. Он говорил тогда Александре, что неизменный распорядок лагерной жизни, однозначность того, что надо было делать, чего хотеть и за что бороться, кажется, сохранили и сберегли ему много сил, и теперь он чувствует, как они возвращаются. За эти два с половиной года им была прочитана масса книг — и классика, в основном русская, и десятки томов народнической литературы, которую он, по совету Александры, начал изучать с французских утопистов, потом читал и частично конспектировал Гегеля, Фейербаха, Спенсера, Бокля, и только после них перешел к работам русских народников, идя строго по порядку от Герцена и Чернышевского к Чернову и Гершуни.

Но главным делом, которым Сергей занимался в Пензе, была своего рода энциклопедия народничества. Он задумал ее еще в Бугутме, и здесь, в Пензе, начал делать вместе с Александрой и ее единственным близким другом Ириной Пестовой, тоже дочерью старого эсера. Отец Ирины умер в сентябре двадцать восьмого года в своей постели, умер вовремя, буквально за день до новой волны арестов. Четвертым человеком, который работал с ними, была дочь Ирины Вера. Она была старше Сергея на три года и, как я понял по некоторым глухим намекам, скоро стала его гражданской женой. Похоже, что этим браком или его

неофициальным характером были недовольны и Александра, и мать Веры Ирина, но почему, выяснить мне так и не удалось. Сама Вера умерла в шестьдесят третьем году, за двадцать лет до того, как я попал в Пензу.

Сделать они хотели следующее: 1) составить полную библиографию книг и статей, так или иначе относящихся к народничеству; 2) выявить всех лиц, принимавших участие в народническом движении, и собрать как можно более подробные сведения о каждом из них; 3) найти и записать устные предания о движении, побудить и договориться об этом со всеми людьми, кто сам или чьи родные были когда-то народниками.

Имена и первые краткие сведения они находили по большей части, просматривая сплошняком, начиная с 1855 года, подшивки московских, петербургских, а также тех местных газет, которые были в пензенской библиотеке. Наиболее ценный материал они находили в отделе судебной хроники. Вторым их источником были журналы, прежде всего — номера «Былого» со статьями, воспоминаниями и, главное, «Современной летописью» — краткой историей людей, дел, арестов и приговоров, а также другой, давно уже прекративший издаваться журнал «Каторга и ссылка». Третий источник — книги и мемуары.

На каждого из найденных революционеров они заводили отдельную карточку, в которую заносили следующие данные — фамилия, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, социальное происхождение, членство в кружках и организациях, важнейшие акции, в которых участвовал, аресты, процессы, по которым проходил, приговоры и, если не был казнен, места, где их отбывал. Каждая карточка кончалась библиографией.

Александра говорила мне, что всякое новое имя было для них праздником: оно значило, что не только восстановлена справедливость и найден человек, который боролся, погиб за счастье других людей и был ими забыт, но и их самих как бы стало больше. Каждую такую находку они отмечали, собирались вместе, и тот, кем она была сделана, рассказывал сначала о своих розысках, потом зачитывал всё, что теперь известно